ВИКТОР НЕКРАСОВ

В ЖИЗНИ И В ПИСЬМАХ

РАССКАЗЫ С ПОСТСКРИПТУМАМИ

Дедушка и внучек с P.S.
Три встречи с P.S.
В высшей степени странная история с P.S.

МАЛЕНЬКИЕ ПОРТРЕТЫ

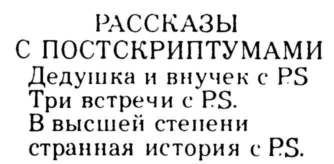
Луначарский
Алина Антоновна
Чужой
Станиславский
Ле Корбюзье
Вас. Гроссман
Паустовский
Жак Стефен Алексис
Вишневский
Чуковский
Игнатьев
Платонов

ЧЕРТОВА СЕМЕРКА



ВИКТОР НЕКРАСОВ

В ЖИЗНИ И В ПИСЬМАХ



РАССКАЗЫ
С ПОСТСКРИПТУМАМИ

Дедушка и внучек с P.S.
Три встречи с P.S.
В высшей степени
странная история с P.S.

МАЛЕНЬКИЕ ПОРТРЕТЫ

Луначарский
Алина Антоновна
Чужой
Станиславский
Ле Корбюзье
Вас. Гроссман
Паустовский
Жак Стефен Алексис
Вишневский
Чуковский
Игнатьев
Платонов

ЧЕРТОВА СЕМЕРКА

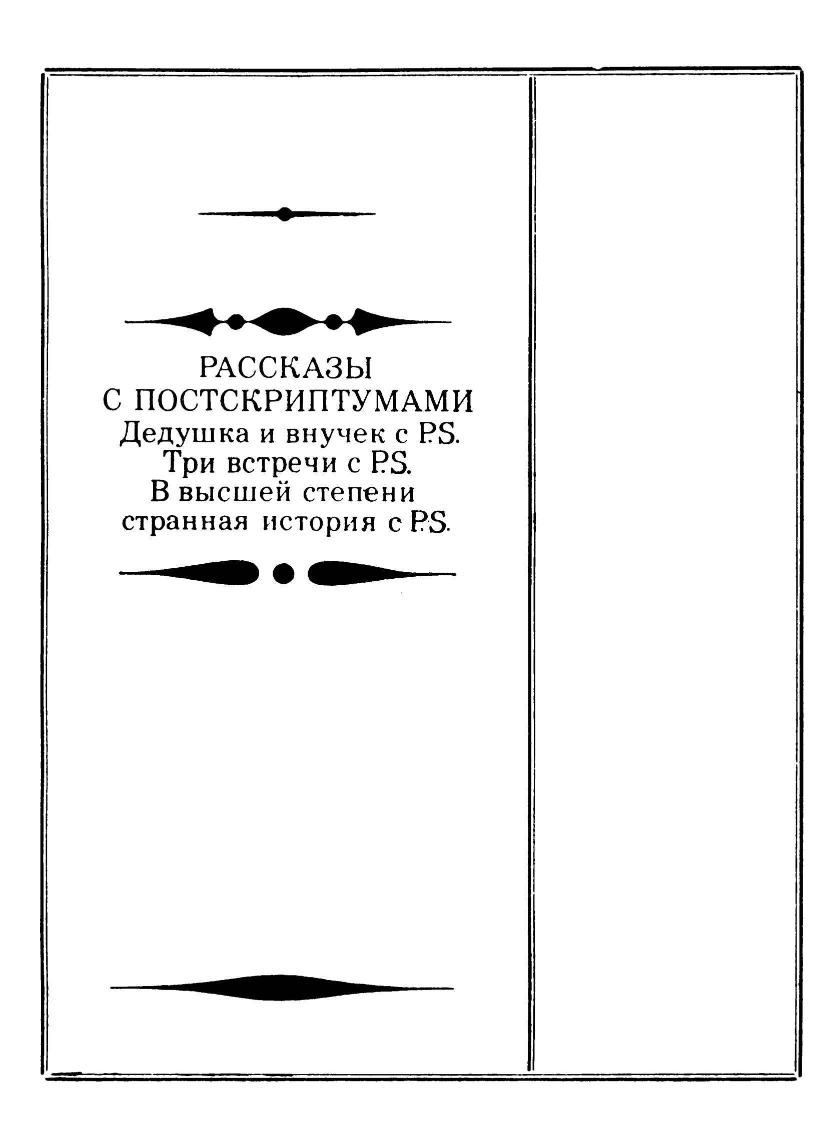
Советский писатель
Москва
1971

Р 2
Н 48

В сборник вошли рассказы о встречах с людьми искусства, литературы — А. В. Луначарским, Вс. Вишневским, К. С. Станиславским, К. Г. Паустовским, Ле Корбюзье и другими. В рассказах с постскриптумами автор вспоминает самые разные жизненные истории. В одном из них мы знакомимся с приехавшим в послереволюционный Киев деловым американцем, в другом после двадцатилетней разлуки вместе с автором встречаемся с одним из героев его известной повести «В окопах Сталинграда». С доверительной, иногда проникнутой мягким юмором интонацией автор пишет о действительно живших и живущих людях, знаменитых и незнаменитых, и о себе.

Художник Вл. Медведев

$\frac{7-3-2}{39-71}$


РАССКАЗЫ
С ПОСТСКРИПТУМАМИ
Дедушка и внучек с P.S.
Три встречи с P.S.
В высшей степени
странная история с P.S.

ДЕДУШКА И ВНУЧЕК

В один из жарких дней конца июля 1966 года я стоял на Крещатике у остановки и ждал троллейбуса, из которого должен был появиться некий незнакомец.

Приехать он должен был первым, одиннадцатым или тринадцатым от Голосеевского леса, из гостиницы «Мир». Езды оттуда минут тридцать — тридцать пять, так что по моим расчетам к двенадцати он должен был быть здесь.

В глаза этого человека я никогда не видал. По телефону он сказал на плохом русском языке, что будет в синем костюме.

Минут в пять или десять первого он появился. Никакого синего костюма на нем не было, одет он был в обычную голубую рубаху и мятые буро-коричневые штаны. Но я сразу понял, что это он. А он — что это я.

— Стив? — полувопросительно-полуутвердительно сказал я.

— Стив, — ответил он.

Стив оказался очень высоким, очень худым, узкоплечим, очкастым и ничем не похожим на американца, хотя, когда он вылезал из троллейбуса, сразу можно было понять, что это иностранец.

— А где же синий костюм? — спросил я.

— О, я говорил по телефону в синем костюме, а потом увидел, что жарко, и надел этот вот... Это не хорошо?

Сказал он это все с небольшими заминками, подыскивая слова, но, в общем, довольно бойко.

— Хорошо, — сказал я. — Пойдем.

И мы пошли в сторону Днепра.

Когда мы подошли к «Кукушке», я спросил:

— А как ты относишься к ста граммам?

— Ста граммам? Чего?

Ясно, за все это время он ни с кем толком и не познакомился.

Мы сели за столик под грибком. Кругом никого не было. Я взял по сто пятьдесят, по кружке пива и порции сосисок.

Стив улыбнулся — у него была очень приятная, чуть-чуть застенчивая улыбка — и сказал только:

— О-о. . .

— Не хочешь?

— Почему? Хочу.

И опять улыбнулся.

Против ожидания Стив не поперхнулся, даже не поморщился и по всем правилам понюхал корку хлеба.

— Научили уже? Где?

— Нигде. Просто знаю, что русские так делают. А зачем — не знаю.

Я объяснил, зачем это делается.

— Ну ладно, — сказал я. — Рассказывай. . .

1

Теперь, как принято было в романах двадцатых годов, а сейчас преимущественно в кино, перейдем от конца к началу. А началось это начало за сорок четыре года до конца — в последний день 1923 года.

Было мне тогда двенадцать лет. Учился, если не изменяет память, в пятой группе (классов тогда не было) 43-й трудовой школы. Занятиями нас не перегружали — это был период Дальтон-планов, психотехники и прочих педагогических новшеств, вполне нас устраивавших. Строго-настрого запрещалось готовить уроки дома, все должно было происходить в самой школе.

Да, нынешним школьникам, одолеваемым в школе учителями, а дома родителями, есть чему позавидовать. По «русскому языку» — по литературе — мы проходили, например, только Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву» и «Поэзию рабочего удара» Алексея Гастева. («Мы растем из железа...» — единственное, что я запомнил.) Все остальное — Пушкин, Гоголь, Тургенев, Толстой, Чехов — считалось тогда буржуазным и дворянским. Дома, правда, меня пытались приобщить к этой порочной литературе (тетка по профессии библиотекарь, по натуре — просветительница), но без особого успеха. Тургеневским барышням мы определенно предпочитали овеянных солеными и жаркими ветрами пиратов и ковбоев, а поэтичным березкам — джунгли, пампасы и саванны... Если не ошибаюсь, именно тогда появился и знаменитый «Тарзан» Берроуза — небольшие, в блестящих пестрых обложках книжечки, зачитываемые до дыр, тот самый Тарзан, который тридцать лет спустя повторил свое победное турне, на этот раз уже по экранам мира. Кроме того, были «Вокруг света» (сначала один, потом два — московский и ленинградский), «Мир приключений» и великое множество Капитанов Мариэттов, Сальгари, Кервудов, Жаколио и Буссенаров. Куда уж тут Тургеневу...

Итак, занятиями нас не донимали. Свободного времени было много. Особенно после того, как были распущены скаутские отряды, а «юных ленинцев», «спартаковцев» еще не было. Кстати, о степени «несоответствия эпохе и новым задачам» скаутских организаций мы, мальчишки, ничего не знали. Нам просто было

весело. Ходили в походы, упражнялись на трапециях и кольцах, занимались французской борьбой, штудировали азбуку Морзе, сигнализировали флажками, изучали историю скаутского движения. Эта, последняя, надо признаться, ставила нас в тупик. Дело в том, что «отцом» скаутизма был английский генерал Баден-Пауэль, организовавший первые отряды молодых разведчиков во время англо-бурской войны, настоящим же кумиром нашим в то же время был его заклятый враг отважный Питер Мариц, геройскими похождениями которого мы зачитывались в очень популярной тогда книге «Питер Мариц — юный бур из Трансвааля».

Но, в общем-то, история тоже нас не очень интересовала, ее с успехом заменяли костры, печеная картошка, хождение по азимуту, завязывание морских узлов и преклонение и влюбленность в нашего «начота» (начальника отряда) — могучего и прекрасного, как викинг, Колю Свенсена.

Но все это было до двадцать третьего года. В описываемое же мною время скаутов уже не было и времени свободного было предостаточно. И тратилось оно в основном на Жюля Верна и упомянутых выше писателей, на марки (Лабуан, Борнео, французские колонии, треуголки Ниассы. . .), на деньги (керенки, шаги, карбованцы, «колокольчики», советские миллионы — все это бережно хранилось в толстом словаре «Ларусс») и конечно же на кино — многосерийные американские фильмы с погонями и стрельбой.

Кроме того, мы издавали журнал «Зуав», «печатавший» романы с названиями, начинающимися преимущественно со слова «Тайна. . .», и в течение трех месяцев я вел дневник.

Думаю, что идею вести дневник внушил мне пример тетки (ее дневники охватывают период с 1897 года до последнего дня ее жизни, до 1966 года, и занимают сейчас у меня в шкафу целую полку) и полная уверенность в том, что всякий уважающий

себя писатель обязательно должен вести дневник. А писателем я мечтал стать (впрочем, так же, как и художником, артистом и путешественником) лет с семи-восьми, если не раньше. Начат дневник был 9 февраля 1924 года и закончен 28 апреля того же года. Дальше не хватило пороху. И слава богу. По бездарности он может соперничать, пожалуй, только с дневниками Николая II.

Состоял он в основном из информации о том, рано или поздно я встал, опоздал ли в школу, спрашивала ли немка или физик, как прошла письменная по математике, что я видел сегодня в кино «у Шанцера» и как провел вечер на именинах у Вали или Шурки. Кончался, как правило, каждый день словами: «Больше сегодня ничего не было. Я лег спать».

Если говорить серьезно о дневнике, то я всегда задаю себе вопрос: с какой целью и для кого его пишут? Для себя, друзей, потомства, для истории или чтоб выгородить себя перед кем-то? Тетка моя — я это знаю — вела его преимущественно для себя. Человек экспрессивный и импульсивный, очень близко к сердцу принимавшая все события — от квартирных недоразумений до государственных переворотов, — она должна была перед кем-то излиться, и так как этот «кто-то» не всегда был, она изливалась самой себе. И очень любила перечитывать потом эти излияния — через пять, десять, двадцать лет. Кроме того, в дневнике было много вырезок из газет, фотографий и обязательный список расходов (в отдельной книжечке), — думаю, что более точных сведений о ценах в нашей стране за более чем полвека не найдешь ни в одном справочнике.

Еще один-единственный раз я попытался вести дневник — в Сталинграде. Но пороху хватило тоже не больше чем на неделю, к тому же и тетрадка не сохранилась, и ее мне жаль.

Еженедельный журнал «Зуав» (потом он почему-то, вероятнее всего из патриотических чувств, переименован был в «Маяк»)

просуществовал тоже недолго. Вышло номеров пять, не больше. Судя по дневнику, в двадцать четвертом году мы с ребятами пытались его возродить, но из этого ничего не вышло.

«Зуав» — на обложке бородатый дядька в красной феске и шароварах, а над надписью перекрещенные винтовка, сабля, наше красное и французское трехцветное знамя, а сверху опять-таки феска — был журналом приключенческим. Сотрудников в нем было четыре: я, Валя Цупник, Шура Воловик и еще один Шура по фамилии Фарбер. Руководство коллегиальное. Содержание — начала и в лучшем случае по одному продолжению романов, которые до окончания так и не доходили даже в голове у авторов. К каждому роману — мои иллюстрации. В спасенном номере 2-3 от 5 апреля 1923 года напечатаны были: продолжение романа «В стране браминов», продолжение романа «Приключения Фрикэ Алегира», начало «Острова в огне», «Медузы», «Приключения трех моряков» и «Тайны бандитов».

Прекрасны были концовки: «...Он выхватил кинжал и занес его над Намиэтой со словами: «Теперь ты от меня не отделаешься!» или: «...Именем короля вы арестованы. Следуйте за мной» — и тому подобное.

Начала были похуже, но и в них было нечто, не уступавшее Жюлю Верну. Ну чем, например, уступает «Таинственному острову» начало «Медузы»?

«— Корабль на горизонте.

— В скольких милях?

— Приблизительно в трех.

— Национальность?

— Австрийский...

— Открыть огонь!» и т. д.

Да, не сохранись этот номер «Зуава», я никогда и не подозревал бы, что у Австро-Венгрии, не имевшей никогда ни одного морского порта, был свой собственный военный флот (сужу

по картинке, где изображен то ли крейсер, то ли дредноут). Так же, только из этого номера журнала, я узнал, прочитав раздел «По белу свету», что «после землетрясения в Чили исчез вулканический остров Пасхи. Погибло около тысячи человек». Боюсь, что тут подвело снабжавшее нас последними сногсшибательными известиями весьма солидное агентство — «Киевский пролетарий». Впрочем, очевидно, оно же сообщило, а мы напечатали (вернее, написали от руки, журнал был рукописный) заметку, в которой говорилось, что «в Нью-Йорке до того усовершенствован радиотелеграфный приемник, что он имеется в автомобиле, и вы имеете возможность, едучи в автомобиле, слушать концерты очень хороших артистов».

Я так подробно пишу о всех своих дневниках, «Зуавах» и австрийских дредноутах вовсе не для того, чтобы вы всплеснули руками: «Ах, подумайте, так рано, а уже писал!», — просто мне кажется, что нынешнему читателю, особенно молодому, интересно будет узнать, чем мы жили, чем увлекались в те далекие счастливые дни, когда нам было по двенадцать лет.

А дни эти, хоть и счастливые, были далеко не легкие. Жизнь была примусная, ломбардная (серебряные ложки и единственная в доме драгоценность — прабабушкина брильянтовая брошка), босоногая. В описываемое время этого уже не было, но за год, за два до этого не только я, но и мама — врач для посещений на дому — ходили летом только босиком, не боясь никаких битых стекол и гвоздей. Первый настоящий костюм я надел, когда мне было двадцать пять лет — ко дню защиты диплома, а до этого ходил в юнг-штурмовках, бархатных толстовках и перешитых из бабушкиных допотопных, но добротных юбок штанах на пуговках, вроде галифе. Вообще я не помню, чтоб покупались какие-нибудь вещи — все перешивалось из старья приходящими на дом портнихами, именуемыми в Киеве «модистками». Стол тоже не изобиловал яствами, хотя на пасху все же делались

куличи, а на рождество обязательная кутья с маковым молоком, медом, орехами, коржами и узваром — этой традиции никогда не изменяли.

С детства я познал прелесть коммунальной квартиры. Я сейчас уж не припомню всех постоянно сменявшихся соседей. Был немец, француз-врач (во время оккупации), осетин из Дикой дивизии, чета библиотекарей, молодожены медики, милиционер с семьей, чекист с красивой женой и еще один чекист с очаровательным пацаном Юрочкой, семья спекулянтов, самый младший член которой четырнадцатилетняя Бузька обкусывала котлеты с нашей сковородки, тут же, правда, придавая им нарушенную остроконечную форму, и еще машинистка с мужем, и еще кто-то — всех не упомнишь. Принципиальных разногласий в этом Ноевом ковчеге, как нетрудно догадаться, было предостаточно, но меня все эти дискуссии об электрических счетах, невымытых коридорах и кошачьих лужах мало задевали. Усевшись в глубокое кресло в гостиной (до самой войны она так и называлась, хотя давно превратилась в спальню, столовую, кабинет и чертежку одновременно), я рассматривал марки или строчил очередную «Тайну» в свой «Зуав».

На собственные средства я выпустил (мне было тогда лет девять-десять) свое «Полное собрание сочинений» в десяти томах. Тома, правда, были небольшие, страничек по шестнадцать (сложенные пополам и разрезанные тетрадочные листочки), но на обложке все было по всем правилам, вплоть до указания издательства (то ли Девриен, то ли Гранстрем). И внутри все до единой страницы перенумерованы, разбиты на главы и оставлены даже, обведенные карандашом, места для иллюстраций. Оставалась самая малость — заполнить все десять томов текстом, но времени на это уже не хватило — помешали какие-то неотложные и более серьезные дела, вероятнее всего, очередные «неуды» в четверти. А может, в этот момент захотелось

вдруг стать знаменитым художником, и я принялся с азартом за «Мосты вздохов» и «Шильонские замки». Так или иначе, но «Собрание сочинений» не вышло — ни у Девриена, ни у Гранстрема, ни даже у Сойкина.

Три слова еще о Киеве тех лет, и от реминисценций и милых автору воспоминаний перейдем к событиям.

По сравнению с сегодняшним Киевом Киев двадцать третьего года был городом маленьким — тысяч четыреста жителей, не больше. И столицей он не был, столицей был Харьков, на наш взгляд, самозванной, не имевшей на это никакого права. Мы были и красивее, и больше, и древнее, и трамвай у нас был первый в России и чуть ли не в Европе, и Днепр со знаменитым («самым большим в Европе») пляжем, и днепровские откосы, и каштаны, и два километра пирамидальных тополей на Бибиковском бульваре, посаженных еще при Николае I... И Крещатик с лучшим (в России, Европе?) кинотеатром Шанцер, и базальтовые, выложенные веером мостовые на Николаевской улице, и панорама «Голгофа» на Владимирской горке (не уступающая Севастопольской), и Столыпина в конце концов все-таки в нашем Оперном театре убили, а не в Харьковском и даже не в Одесском — одним словом, мы тяжело переживали незаслуженную, как нам казалось, опалу родного города и непрестанно кипели от обуревавшего нас «киевского» патриотизма.

Сейчас я вспоминаю о старом Киеве с понятным умилением — и Крещатик-то был не хуже, а может быть, даже и лучше Невского или Дерибасовской, со своей кофейней Семадени (перед названием стояло, правда, маленькое «б» — бывший), и кондитерской Фрудзинского (в прошлом «поставщика двора Его Императорского Величества», а сейчас тоже «б») с обязательными навесами — «маркизами» — над витринами, и Днепр шире, и уличные фонари красивее — высокие, тонкие, с изящной завитушкой наверху и какими-то бородатыми старцами на цоколях,

и трамваи удобнее — прекрасные пульманы с широкими зеркальными окнами и открытыми площадками, на которые можно было вскакивать на ходу и висеть гроздьями, и на углу улиц Ленина и Воровского (бывшей Фундуклеевской и Крещатика) в деревянном и, на наш взгляд, очень красивом павильоне за 3000 рублей можно было посмотреть на вздымающуюся грудь спящей восковой Клеопатры с коварной змеей, а потом, в годы нэпа, там открыли рулетку, но туда уж нас не пускали. Одним словом, все было лучше, только вокзала мы слегка стыдились — длинного деревянного барака, построенного на месте заложенного нового, из-за первой войны так и не выстроенного. А в остальном — лучше Киева города не...

На самом же деле был он тогда грязен, пылен, зимой завален горами снега, выраставшими вдоль тротуаров, с нерасчищенными мостовыми, где вместо нынешних продольных автомобильных колей были поперечные от конских, извозчичьих копыт (да, нет больше этих толстозадых, с пуговицами на спине извозчиков, нет крохотных санок с медвежьей полостью...), и вода на пятый этаж, где мы жили, приходила только ночью, и целый день стояли наполненные ванны, и высокие, с изящной завитушкой фонари горели тускло, ничего почти не освещая, и улицы засыпаны семечковой шелухой (какие тогда были семечки — длинные, сухие, прожаренные — «конский зуб», на каждом углу не меньше пяти баб с корзинками), и «Правда» из Москвы приходила на третий день (я с детства наряду с жюльвернами любил газеты и старательно переписывал в отдельную тетрадку события на греко-турецком фронте и ход Вашингтонской конференции по разоружению, а до этого обязательно в каждой газете разделы «В стане белых» и «В черном лагере»), и телефоны были только в учреждениях и у богатых врачей, а автоматов совсем не было... И все же Киев был лучше всех. Лучше Москвы, Ленинграда (вернее Петрограда), Парижа, Нью-Йорка.

Пятый в мире «по красоте» — это мы знали точно — после Неаполя, Сан-Франциско и еще каких-то двух, не помню уже каких.

И вот — наконец я приступаю к главному — в этот пятый по красоте город в самую его заснеженность, в мороз, в стужу приехал подтянутый пожилой господин в крахмальном стоячем воротничке (я видел их только на сцене у буржуев), с крохотной пишущей машинкой в футляре через плечо и двумя немыслимой красоты кожаными чемоданами, сверкающими никелированными замками. Приехал корректный, выутюженный господин из Америки, из Соединенных Штатов, директор Нью-Йоркской публичной (самой большой в мире!) библиотеки мистер Гарри Миллер Лайденберг. Приехал и остановился у нас! Вот так вот — просто у нас, в нашей квартире, на пятом этаже (лифт, конечно, не работал) дома № 24 на Кузнечной (тогда Пролетарской, а ныне Горького) улице и прожил у нас три дня. . .

Ну что я могу сказать? Подобного события я еще не переживал. Живой американец в нашем доме. В крахмальном воротничке, жилетке, в ботинках на толстенной, неснашиваемой подошве (я их внимательно изучил, пока гость купался в ванной, специально для него натопленной), в металлических, кажется золотых, круглых очках, очень сдержанный, вежливый, похожий на пастора, ушастый, с губами в ниточку и, по-моему, чуть-чуть всем своим путешествием ошарашенный.

Остановился у нас по той простой причине, что гостиниц в Киеве было всего, кажется, пять («Континенталь», «Прага», «Гранд-отель», «Марсель» и «Франсуа») и попасть туда было не легче, чем теперь, а тетка моя работала тогда в библиотеке Юго-Западных железных дорог, и ей поручено было ее московской приятельницей Л. Б. Хавкиной (к ней-то и приехал наш Лайденберг, она известна была за границей как крупный библио-

граф) встретить на вокзале и благоустроить заморского гостя.

Устроили его в гостиной на широкой, удобной, орехового дерева бабушкиной кровати, а сами расселились по другим комнатам — тогда у нас их было три. Все эти три дня до поздней ночи у нас толклись посетители. Часам к двенадцати почетный гость уже не в силах был говорить — за день тетка так его замучивала всякими библиотеками и учреждениями, что к вечеру он буквально валился с ног. И все же он был двужильным, этот маленький, похожий на пастора, пожилой (ему было лет сорок, не больше, но мне казался он стариком) господин из Нью-Йорка, — выпив свой чай, он запирался в гостиной и долго еще стучал на машинке.

На меня особого внимания гость не обращал — мальчик как мальчик, — но теперь, кое-что узнав, я понимаю, что какие-то эмоции я у него вызывал: дома его ожидал сын Джон, мой ровесник.

Наутро четвертого дня Лайденберг уехал. Провожали его мать и тетка. Вернувшись, они обнаружили приколотыми английской булавкой к подушке два червонца. Все немного смутились, даже огорчились, но были тронуты.

На этом мое знакомство с первым в моей жизни американцем кончилось.

2

Прошло сорок лет. За это время я успел кончить школу, институт, повоевать, поседеть и даже побывать в Америке. Проходя мимо Публичной библиотеки в Нью-Йорке на Пятой авеню, я невольно вспомнил нашего гостя в крахмальном воротничке и подумал даже, не зайти ли, не спросить ли о его судьбе, жив ли, работает ли, но то ли постеснялся, то ли не было времени — не зашел.

Вернувшись в Киев, написал путевые заметки о своей поездке. Назывались они «По обе стороны океана». Они были подвергнуты, как у нас говорят, резкой критике. Свое дело эта критика сделала. Заметки привлекли внимание, и во многих западных газетах, в том числе американских, появились отрывки из них. В одном из этих отрывков упоминался Гарри Миллер Лайденберг — первый живой американец, с которым я познакомился. . .

И вот сколько-то там времени спустя я вынул из ящика письмо с американскими марками. Обратный адрес — США, Женева, Джон Лайденберг. . .

Разобрал письмо с трудом, со словарем, но все же понял, что оно от сына, что нашего Гарри Миллера нет уже в живых, но сохранились письма, которые он выстукивал жене и детям у нас в гостиной, и что, если они меня интересуют, он, Джон, может выслать фотокопии. Дальше в письме было сказано, что я очень точно и похоже изобразил его отца, он сразу его узнал, но что директором библиотеки он тогда не был (какое разочарование через сорок лет!), а только заведующим, по-английски директором, одного из отделов, но очень уважаемым и почитаемым. Кроме того, сообщалось, что сам он, Джон, профессор литературы, в частности французской, читает лекции в университете и даже за границей (год или два прожил во Франции), что у него хорошая жена и двое отличных ребят — сын и дочь. Если я ему отвечу, он будет очень рад.

Я тут же ответил, а через месяц или полтора получил солидный пакет с обещанными фотокопиями. К ним приложена была фотография совсем, оказывается, не пожилого господина в крахмальном воротничке, ушастого, очкастого, аккуратно подстриженного, с пробором и губами в ниточку.

Такие же и письма его — точные, подробные, обстоятельные, аккуратно подстриженные, с ровным пробором. И в то же

время непритязательные и очень искренние. Письма хорошего, доброго, чуть-чуть, как у нас говорят, занудного человека и трогательного семьянина [1].

Начинается с его поездки из Москвы в Киев. Я ее опускаю. Приступаю прямо с Киева.

«Понедельник, 31 декабря, 1923.

Часов до двух снег валил не переставая, потом небо стало понемногу проясняться, и к нашему прибытию с двухчасовым опозданием в Киев солнце ярко засветило. Все пассажиры нашего вагона были из Киева, и я очень расстроился, когда один из них заявил, что он никогда не слыхал ни названия гостиницы, куда я направлялся, ни той улицы, на которой она должна была быть. Перед моим отъездом г-жа Хавкина обещала позвонить своей подруге мисс Мотовиловой, библиотекарю управления железной дороги, и попросить, чтобы она встретила меня на вокзале и помогла получить билет до Львова. И все же у меня не было уверенности, что мисс Мотовилова встретит меня. Поэтому я зорко всматривался в лица встречающих и, признаюсь, был несказанно обрадован, увидев ее с сестрой на перроне, — до этого я встречал ее только раз, когда читал свою лекцию для мадам Хавкиной. Обе они с сестрой убедили меня, что лучше всего будет поехать сейчас прямо к ним и уже оттуда заказать номер в гостинице. Мы с мисс Мотовиловой втиснулись в санки, а сестра ее последовала за нами в трамвае.

Дома нас встретила добрейшая мать мисс Мотовиловой

[1] Да не подумает читатель, что письма эти — некий литературный прием. Нет, они действительно существуют, были написаны сорок пять лет тому назад. Но привожу я их с некоторыми сокращениями, чтобы не утомлять читателя.

и сын ее сестры — мальчик примерно такого же возраста, как наш Джон. Часов в шесть мы сели обедать, а после обеда один за другим потянулись гости, библиотечные работники, — поговорить с человеком из далекой Америки. Разговор шел по-французски и только изредка кто-нибудь переходил на русский. Около десяти часов подали неизбежный ужин, хотя к тому времени я не успел еще опомниться от обеда. Из разговора я узнал, что семья Мотовиловых провела много лет в Швейцарии и в Париже, поэтому говорили они по-французски легко и свободно, как будто это был их родной язык. Все они настаивали на том, что сейчас уже поздно искать гостиницу, что нужно оставаться у них хотя бы до утра, когда можно будет узнать что-нибудь определенное относительно поездов на Львов. Я колебался, но приглашение было столь искренним и настойчивым, что я решился его принять. Хозяева были более чем гостеприимны. После ухода гостей сестра, практикующий врач, приготовила мне горячую ванну и, будто я был инвалидом, проверила градусником температуру воды. Можете себе представить, как крепко я спал, когда часов в 12 забрался в постель. Семья еще продолжала беседовать. . .»

Насколько я понял, мистера Лайденберга больше всего поражала любовь русских к ночным разговорам. А у нас это любили. Самовар давно уж остыл (кстати, наш гость очень им заинтересовался, но объяснить, где и как можно его приобрести, ни мы, ни гости не смогли), бабушка полоскала чайную посуду, я садился тут же на диване (в гостиной зимой всегда было холодно) читать «Миллионы индийской бегумы», а гости все не расходились. В этот вечер сидели часов до двух, может даже и до трех.

Когда я на цыпочках зашел за книгой в гостиную, где спал мистер Лайденберг, я услышал легкий храп и увидел при свете непогашенной лампы, что гость наш спит в ночном колпаке (таком, как у бушевских бюргеров в «Максе и Морице»), что вещи его аккуратнейшим образом сложены на стуле, на коврике рядышком ботинки с вложенными в них носками и кожаные шлепанцы без задников, а на ночном столике маленькая, в сафьяновом переплете книжица — очевидно, молитвенник, подумал я, но проверить постеснялся. Спал гость на спине, очень ровненько, сложив симметрично руки на животе, что тоже напоминало какую-то картинку из Буша. Все было очень интересно и непривычно.

> «Мы позавтракали около девяти утра остатками от вчерашнего ужина, после чего я наблюдал испытания матери, выпроваживающей своего сына в школу. Школьные занятия начинаются здесь в десять, но мальчишке надо было уходить в девять тридцать, и процедура отправки его сильно напомнила мне процедуру отправки другого мальчика, которого я с радостью хотел бы сейчас увидеть.
>
> Наконец сына выпроводили, и мы с мисс Мотовиловой смогли поехать по делам. Так как до десяти утра здесь все учреждения закрыты, мы решили осмотреть какую-то церковь. Я уже не помню ее названия, но она не принадлежала к числу самых древних. (По-видимому, Владимирский собор. — *В. Н.*)
>
> После церкви мы пошли на городскую железнодорожную станцию взять билет до границы. Накануне мы узнали, что на Львов поезд идет только раз в неделю — по четвергам утром, к тому же идет только до границы, а как оттуда добираться до Львова — пока было неясно.

Придя на городскую станцию, мы прежде всего увидели угнетающих размеров очередь к единственному окну, в котором, по-видимому, продавались билеты. Далее мы обнаружили полное отсутствие какого-либо интереса к нам со стороны работавших здесь людей, каких-то неопределенного назначения чиновников. Один из них выразил свое крайнее удивление по поводу того, что мисс Мотовилова требует у них сведений о согласованности движения поездов по ту сторону границы. С таким же успехом вы можете спрашивать расписание поездов в Америке, заявил он, забывая, что единственное, что мы хотели узнать, — это что делать человеку, который добрался до границы и хочет продолжать дальше свой путь. Я занял место в хвосте, пока мой ангел-хранитель допрашивал по очереди этих людей, получая чем дальше, тем меньше сведений. Прошло больше получаса, пока нам пришла счастливая мысль послушать, что нам может сказать по этому поводу польское консульство, выдающее визы на въезд в Польшу.

Консульство находилось довольно далеко, но я рад был случаю поразмять ноги и посмотреть город. Мисс Мотовилова уже не молода, но она прекрасный ходок. Мы добрались до консульства, и там начались знакомые уже мне испытания. Провели мы там почти два часа и ушли оттуда, узнав не больше, чем знали до того. Заставив нас довольно долго ждать, консул в конце концов нас принял и заявил, что не видит никаких оснований, почему бы нам не поехать поездом завтра, но посоветовал убедиться раньше, не отменен ли он и пропустят ли меня русские через этот пункт границы. Это означало прогулку в другую часть города.

Ну-с, мы вскочили в санки и отправились в иностранный отдел паспортного стола выслушать очередной ответ,

как переехать границу. И там — о счастье! — мы впервые встретили человека, который располагал по этому поводу определенной информацией. Он сообщил, что если я выеду завтра, во вторник (а оказывается, есть еще один поезд — во вторник), то буду иметь удовольствие вернуться обратно в Киев, так как поляки отказались поставить в этом пограничном пункте правомочного офицера. Русские просили установить три контрольных пропускных пункта, но поляки согласились только на один, и чтобы через этот пункт переехать, нужно отправиться поездом в четверг. Я по-немецки сказал ему, что, хотя я и разочарован, все же готов тут же повесить ему медаль на грудь, как первому и единственному человеку, который дал мне вразумительный ответ. Конечно, хотелось бы выехать завтра, но теперь — раз так нужно — буду спокойно ждать четверга, невыносима только неопределенность. Человек усмехнулся — он был явно доволен, что кто-то с удовольствием ушел из его учреждения, — и дал мне требование на билет и плацкарту на поезд в четверг. Увы, придется быть на вокзале в несуразное время — в шесть часов утра! Что это для меня значит, вы поймете, если вспомните, что я обычно встаю в восемь и даже девять часов. Но я заметил, что у мисс Мотовиловой дома есть будильник, и если надо — я встану. Подумать только — если я просплю, придется ждать еще целую неделю! . .»

Думаю, что славный наш Лайденберг не без ужаса должен был представить себе эту предполагаемую неделю. Дело в том, что тетка моя, Софья Николаевна, человек, готовый распластаться в лепешку, чтоб чем-нибудь кому-нибудь помочь, была при этом человеком властным и деспотичным. Думаю, что добрейший и деликатнейший гость наш понял это после первого же

дня. Из дальнейшего читатель увидит, что у него были основания опасаться теткиного напора и желания показать все, что только можно и кого должно.

«. . .Из паспортного стола мы отправились в библиотеку, в которой работает один из наших вчерашних гостей. Живет он при библиотеке, которой и заведует, а библиотека принадлежит школе политического просвещения офицеров и солдат. Это убежденный коммунист, душой и телом преданный своему делу. Прошлой ночью он удивлялся, почему мы в США после войны сохранили старую систему классификации: ведь послевоенные события в корне изменили все отрасли науки, в особенности общественные, и все, что было правильно раньше, неправильно сейчас. Я ответил, что мы мало интересуемся абстрактными схемами классификации, что для нас важно найти удобный план расположения книг по данному предмету и что, насколько мне известно, ни одна библиотека в США не меняла и не собирается менять свою классификацию в связи с войной.

Мы без всяких трудностей нашли эту библиотеку, расположенную в здании старинного монастыря. Все монастыри тут используются под различные учреждения, и пока мы проходили по коридорам и сводчатым переходам, я развлекался тем, что старался себе представить, что думали бы бесчисленные монахи, проходившие когда-то под этими сводами, если б могли видеть толпы солдат, пробегающих взад и вперед по этим коридорам сейчас. Библиотека невелика, но недостаток книг возмещается их целесообразным подбором. Назначение школы — обеспечить книгами командиров и бойцов так, чтобы они правильно знакомились с основами коммунизма, Красной Армией, общественными науками.

Вообще должен сказать, одобряем ли мы политику советского правительства или нет, нельзя не оценить проделанную им громадную работу по воспитанию подрастающих поколений в духе, как оно полагает, правильных принципов управления Россией. Наш библиотекарь показал нам свой каталог новых поступлений, карточный каталог и схему административной деятельности. Заведующий библиотекой жаждал критики и совета, где бы он мог получить нужные ему книги об американских библиотеках. Я честно сказал ему, что люди, которые смогли придумать и провести в жизнь все те методы пропаганды и организации, которые я тут увидел, могут сами писать книги на эти темы и не нуждаются в советах американцев; но все же дал ему адрес Милема в Чикаго.

Покинув библиотеку, мы с мисс Мотовиловой вскарабкались на вершину ближнего холма, где расположена одна из старинных церквей, чтобы посмотреть на окружающую местность и раскинувшийся под нами Днепр. Вид долины, купающейся в мягком свете заходящего солнца, с покровом снега на земле и скованным льдом Днепром производил глубокое впечатление.

Оттуда мы отправились домой, заглянув по дороге в государственную библиотеку Украины. Хотя ей всего только пять лет от роду, она вмещает свыше миллиона томов. Большинство из них все еще свалены, как дрова, в ожидании, когда их классифицируют и разнесут по каталогам. По большей части это книги из национализированных частных библиотек помещиков и буржуазии. Библиотека помещается в плохо приспособленном для этого здании бывшей гимназии и работает, преодолевая те же препятствия, с какими и нам приходилось сталкиваться в старых зданиях.

Читальный зал был полон, и обслуживающий персонал едва справляется с выполнением заказов. В зале я заметил

выставку произведений Ленина и две выставки книг, посвященных революционному движению в Германии. Мы посетили заведующего библиотекой, и он настоял на том, чтобы мы с ним поели — какие-то мясные шарики, капусту, жареную картошку и черный хлеб. После обеда, а это, очевидно, и было обедом, он объяснил нам систему классификации в его библиотеке, а потом стал расспрашивать меня о положении дел в Нью-Йоркской библиотеке. С кем бы вы тут ни заговорили, трудно отвлечь их внимание от размеров нашего бюджета, заставить понять, что библиотекарю у нас немногим легче прожить на жалованье, которое им тут кажется «княжеским», чем им на свое. . .»

О жалованье, жалованье! К сожалению, тети Сонины дневники и расходные записи с 1917 по 1926 год погибли во время немецкой оккупации, а то я мог бы с точностью до копейки (вернее, тысячи) записать, что и сколько в те дни стоило и из чего состоял бюджет семьи среднего служащего. Могу только сказать, что до 1922 года все мы, даже босоногие мальчишки, были миллионерами, потом ворочали десятками тысяч и только в 1923 году узнали, что такое «один рубль» (на новых дензнаках было написано: «Один рубль 1923 г. равен одному миллиону рублей дензнаками, изъятыми из обращения, или ста рублям дензнаками 1922 г.»). Кроме прозаических «дензнаков», были, правда, еще и белоснежные, хрустящие «червонцы», банковые билеты (1,14234 грамма чистого золота на один червонец), но до них наши детские руки не дотягивались.

Ну, а жалованье? Что же было тогда жалованье? И как сравнить его с княжеским (в кавычках или без кавычек) жалованьем среднего американца? Из дальнейшего читатель увидит (я забыл, а мистер Лайденберг записал), что тетка зарабатывала 29 руб-

лей в месяц, а мать — 40, что по лайденберговским расчетам равно 14,5 и 20 долларам... Ох, думаю, что американские врачи и библиотекари получали тогда чуть побольше и покупка обуви или штанов не была для них проблемой — одним словом, я решительно убираю кавычки.

«...С библиотеками покончено... Домой, к обеду, поговорить немного с гостеприимным семейством и спать как можно скорей!

В прошлом году как раз в это время я сидел у камина, стараясь раскрыть крышку фотокамеры, которую заело, когда Мадлен снимала снегопад на рождество, а я был в Чикаго. Сколько раз я думал о вас сегодня, надеялся, что вы здоровы, мечтал хоть одним глазом взглянуть на вас и мысленно посылал свои наилучшие пожелания вам, моим любимым. Пусть счастливо закончится старый год и пусть новый принесет каждому только хорошее. Очень люблю вас всех! ..»

«Вторник, 1 января 1924 года.

Прошлой ночью, после того как я закончил письмо и уже собирался ложиться, пришла мисс Мотовилова и настояла на том, чтобы я зашел в столовую на чашку чая. Я уже в тот вечер успел отклонить одно такое приглашение, но на этот раз должен был его принять. В столовой я нашел двух дам примерно такого же возраста, как мисс Мотовилова. Обе неплохо изъяснялись по-немецки, и весь вечер мы проговорили о моих впечатлениях от России, о положении в Европе, и Германии в частности, о мире в целом. За разговором мы с удивлением обнаружили, что не заметили,

как перешли из одного года в другой, и по этому случаю выпили за новый год — чаю, к негодованию и неодобрению большинства присутствующих. . .»

Боюсь, что тут Лайденберг, при всей своей дотошности, что-то напутал. Не может быть, чтоб не было вина или хотя бы наливки. Водки у нас в доме не было (познакомился с нею впервые в девятнадцать лет и, мягко выражаясь, особого удовольствия от этого знакомства не получил, а мать еще меньше), и вино тоже не часто, но вишневая наливка, стоявшая в больших бутылях на подоконниках в гостиной, всегда была. Думаю, что именно ею в высоких хрустальных с мелодичным звоном бокалах мы и чокались в ту новогоднюю ночь.

О чем говорили — не помню, возможно, что действительно о Германии, Европе и всем вместе в целом. Помню только, что, когда гости ушли, бабушка, Алина Антоновна, самый добрый человек из всех, кого я знал за всю жизнь, несколько утомленная гостями и поздним часом, но довольная, что все «обошлось», принялась за посуду, а тетя Соня с увлечением стала вспоминать Париж.

И тут выяснилась забавная деталь. Очевидно, больше из вежливости мистер Лайденберг спросил, где мы жили тогда в Париже. «Рю Ролли, 11, возле парка Монсури», — хором ответили бабушка и тетя... Мистер Лайденберг тут же вынул из бокового кармана кожаную записную книжечку и, полистав ее, торжественно сообщил — бывает же такое! — что несколько месяцев тому назад он был именно в этом доме — рю Ролли, 11, да-да, у него там живет знакомый, очень приличный субъект, тоже библиотекарь... Тетя с бабушкой очень обрадовались этому совпадению, даже я, хотя о той квартире помнил только то, что как-то ночью проснулся от сильной стрельбы и меня поднесли

к окну посмотреть на лучи прожекторов: над городом летел цеппелин...

«...Взглянув на часы, я с ужасом увидел, что уже почти два часа ночи. Вот видите, как я встречал Новый год! Старшая сестра, врач, мать Виктора, которому двенадцать лет, ушла на новогоднюю встречу врачей, и когда я спросил, не надо ли ее встретить, мать и сестра, улыбнувшись, посоветовали подождать до утра, а там будет видно. Тогда я лег и проспал сном праведника и человека с чистой совестью до самого утра. Когда я пришел к завтраку, выяснилось, что мать Виктора вернулась только в восемь утра, так как между часом и восемью трамваи не ходят. Встречей Нового года она осталась очень довольна и сейчас была готова приступить к своей работе...»

Спасибо мистеру Лайденбергу! Не будь его писем, я не смог бы через сорок пять лет уличить свою мать в ветрености. А теперь могу... Попробуй я сейчас убежать на встречу Нового года в какой-нибудь компании без нее. А она вот убежала к каким-то своим врачам...

«...После завтрака нашел атлас и стал по нему проверять свой маршрут до Львова. В это время пришла мисс Мотовилова и сообщила, что только что говорила с человеком, который был во Львове на прошлой неделе. Ездил он туда на Волочиск и находит эту дорогу очень удобной. Я заявил ей, что ко всем этим новостям я глух, что я раз и навсегда принял решение ждать до четверга и не интересуюсь

ничем, кроме поездов, отходящих в четверг. Документы мои в порядке. На паспорте отмечен пункт переезда Шепетовка, и на Шепетовку я и поеду. Я не собираюсь искать новых путей, в особенности здесь, на востоке.

Мисс Мотовилова согласилась и тут же заявила, что мы посетим сегодня монастырь Лавру. . .»

Дальше идет подробнейшее описание Лавры, затем Киева, которое я, чтоб не утомлять читателя, опускаю, тем более что все эти сведения с успехом можно почерпнуть в любом путеводителе. Кстати, лучший из них профессора Эрнста (издание тридцатых годов), ставший сейчас, правда, библиографической редкостью.

«Четверг, 3 января.

В поезде между Шепетовкой и Здолбуново. Шепетовка — последняя русская станция, Здолбуново — первая польская. Вчера я ничего не писал, так как при пересечении границы не хотел иметь при себе лишних бумаг. Оглядываясь назад, я вижу, что прошедшие дни были интересными, хотя по временам я спрашивал себя, где я нахожусь и что со мной будет. Видите ли, определенно известно было только одно, что на Львов идет всего один поезд в неделю, из Харькова, и билеты на него в Киеве начинают продавать только утром в день отъезда. Более того, отправляется он, по расписанию, в семь утра — удобнее не придумаешь. Предварительной продажи билетов нет: во-первых, до прибытия поезда неизвестно, сколько будет свободных мест, во-вторых, курс рубля меняется так быстро, что продавать билеты заранее по ценам прошедшего дня было бы убыточно. Однако мне хотелось бы спросить какое-нибудь от-

ветственное лицо, почему нельзя прицепить в Киеве вагон, билет на него продавать заранее, а разницу в стоимости взимать в день отъезда. Но, наверно, это противоречило бы какому-нибудь предписанию и нарушило бы всю систему. Мне было любопытно видеть, как нечетко организована эта система.

Мисс Мотовилова заведует всей библиотечной сетью Киевской железной дороги (старик склонен был к преувеличениям, она была рядовым библиотекарем. — *В. Н.*) и в качестве таковой входит в железнодорожную администрацию. Я думал, что она может позвонить начальнику отдела пассажирских перевозок и узнать для меня время отхода поезда и стоимость билета. Оказалось, однако, что даже она не может ничего узнать. А ведь она приняла во мне очень серьезное участие и считала себя ответственной за все, что со мной случится. Оглядываясь назад, я вижу, что обо мне здесь заботились каждую минуту. Это было более чем любезно с их стороны, хотя меня это крайне смущало и мне трудно было выразить свою признательность. Не знаю, что бы я делал без мисс Мотовиловой, и думаю, вы поймете, что значила для меня ее помощь, когда узнаете обо всех моих похождениях.

Как я уже писал, было решено ехать поездом в четверг. Во вторник вечером пришел один человек, который стал убеждать меня, что, по его мнению, крайне опасно выходить на улицу в пять часов утра, а надо отправиться на вокзал накануне поздно вечером и провести ночь там. Для убедительности он рассказал, как у его знакомых рано утром по дороге на вокзал отняли пальто, сумку и какие-то еще вещи. Рассказ его был так убедителен, что, казалось, ничего не оставалось, как последовать его совету. Я готов был это сделать, но когда узнал, что мисс Мотовилова намеревается

сопровождать меня и здесь, я решительно воспротивился.

Наутро, в среду, сравнительно рано, мы отправились на вокзал в надежде получить какие-нибудь дополнительные сведения. Начальник вокзала, недовольно хмыкнув, взял у меня записку с распоряжением предоставить мне плацкартный билет. Никто, даже он, не мог добавить ничего нового к тому, что мы уже знали. Пока мы ждали у окошка, мисс Мотовилова разговорилась с одним из носильщиков, и мы условились, что он зайдет за нами домой в пять утра, чтобы нести чемодан и сопровождать нас на вокзал. Если бы все истории, которых мы наслушались, были правдой, то было бы далеко не безопасно доверять даже ему, но мы решили, что у него честное лицо, и я отказался рассматривать какие-либо другие предложения.

С вокзала мы пошли на почту, чтобы отправить фунтов десять книг, которые я получил накануне в монастыре. Увы, их не приняли — они превышали максимальный вес, установленный для бандероли. Но даже если бы мы вынули лишнее, все равно не удалось бы их отправить, так как еще требовалось специальное разрешение из Москвы на вывоз книг. Делать было нечего, и мы решили таскаться с ними по городу до возвращения домой, а там оставить их мисс Мотовиловой для отправки при удобном случае. Вторая постигшая нас неудача состояла в том, что на телеграфе у меня не приняли телеграмму Арктовскому о моем предстоящем выезде. Оказывается, международные телеграммы принимают только на центральном телеграфе, откуда их сперва передают в Москву на проверку. Пришлось пойти на центральный телеграф, но молодой человек, принимающий там телеграммы, куда-то ушел, и никто не мог сказать, где он и когда вернется. После долгих разговоров мы упросили

другого служащего принять нашу телеграмму. Ну, что вы скажете о системе, нормальное функционирование которой зависит от присутствия на своем рабочем месте одного-единственного служащего?»

Бедный, бедный Лайденберг. Трудно было ему, конечно, воспитанному на американском сервисе, привыкать к нашим порядкам тех лет. Но он был деликатен — в разговорах ни на что не жаловался и позволял себе это разве что в письмах домой. Только один раз, помню, когда его чуть ли не силком вытащили на встречу Нового года, он сказал: «И как это вы, русские, не устаете? Целый день бегаете, целый день на ногах, а к вечеру как ни в чем не бывало — можете полночи о политике еще говорить...» Сказал и смутился — не обидел ли? Но никто не обиделся, только рассмеялись, — знал бы он, что значит постоять часок-другой в очереди или сесть в трамвай в половине девятого утра...

«Только что я заметил, что допустил серьезную неточность в изложении, которую вы, надеюсь, простите. Со станции мы сперва пошли не на телеграф, а в библиотеку, где работает мисс Мотовилова. Насколько мне известно, ничего подобного по нашу сторону океана нет. Эта библиотека для служащих местного железнодорожного узла и членов их семей. Помимо абонемента, есть читальный зал, комната для детей, хорошая коллекция диапозитивов для просмотра с помощью проектора. Мы осмотрели разные отделы библиотеки, и мне пришлось отвечать на обычные вопросы. Я убедился, что, с кем бы из библиотечных работников мне ни приходилось встречаться, все они задают несколько одинаковых вопросов. Первый касается классификации, вто-

рой — интереса, проявляемого у нас к Эптону Синклеру, третий — моих впечатлений о России.

Вчера я сказал одному молодому человеку, задавшему мне два последних вопроса, что мои впечатления об административных способностях русских были бы лучше, если бы мне удалось найти хоть одного человека во всем железнодорожном ведомстве, который мог бы сказать мне, в какое время по расписанию завтрашний поезд должен прибыть на границу. Молодой человек только улыбнулся и, очевидно, чтобы переменить тему, тут же спросил, в каком углу карточки — правом или левом — принято в Америке ставить шифр. Я вынужден был сказать ему, что я самый несведущий человек в этом вопросе и что, по моему твердому убеждению, достаточно взять наугад пять любых библиотек в любых пяти городах, чтобы найти шифр и в левом углу, и в правом. Оказалось, что по этому вопросу, как и по многим другим вопросам такой же важности, Россия расколота на несколько лагерей.

В той же библиотеке я должен был высказаться и о том, как я оцениваю советскую систему торговли книгами. Я сказал, что, насколько мне известно, в нашей стране подобной работы не проводится и что эта работа заслуживает большой похвалы. Потом мисс Мотовилова с особым удовольствием показала мне детскую комнату, и я уверен, вам будет интересно послушать эту историю. Для оформления ее детям двенадцати-тринадцати лет поручено было самим сделать в виде плакатов иллюстрации к некоторым сказкам Пушкина, причем вся эта работа должна была быть выполнена в истинно русском стиле. Результат превзошел все ожидания — и взрослые и дети были очень довольны. Однако плакаты эти не долго провисели на стенах. В библиотеку был назначен новый комиссар, который, войдя в комнату, сразу

же заявил, что все эти плакаты надо немедленно снять. Ему не понравилось, например, что крестьяне были представлены слишком идеалистично, им следовало бы выглядеть более материалистично, а на головах некоторых аистов были короны. То, что короны им положены по содержанию сказки, он считал несущественным. Не те были времена, чтобы рисовать короны. Я не помню, какие у него еще были возражения, но помню, что все они были приблизительно этого же рода. Вы можете представить себе, с каким интересом я осматривал стены этой комнаты и как я был рад, что часть старого оформления все-таки осталась: простые бордюры и греческие фризы, которые, очевидно, считались менее вредными для юных умов.

Из библиотеки мы пошли на центральный телеграф, послали Арктовскому телеграмму о моем приезде, а оттуда направились в университетскую библиотеку, где я нашел одну из лучших коллекций, которые мне когда-либо приходилось видеть. Она находилась в отличном порядке, и библиотекарь сказал мне, что все до единой книги были занесены в каталог. Я должен был признаться, что за всю мою практику я знал только одну библиотеку, о которой можно было бы сказать то же самое. Только когда мы уже заканчивали осмотр библиотеки, я понял, почему она находилась в таком образцовом порядке. Оказывается, студенты этой библиотекой не пользуются, а профессора всегда хорошо обращаются с книгами. Поскольку читателей было немного, жизнь этого библиотекаря можно было бы назвать идеальной, если бы только помещение библиотеки лучше отапливалось.

После осмотра библиотеки мы пошли купить немного хлеба и мяса на дорогу, а потом обедать. После обеда пришло несколько гостей. Я по возможности старался быть

в своей комнате, побрился, уложил все, что мог, и часов в десять попробовал лечь спать. Однако здесь, в России, это оказалось невозможным. Пришли другие гости, потом мы пытались завести два будильника, потом был чай, потом еще гости... Когда я ушел к себе, было уже 11 часов, а разговоры все еще продолжались...»

Когда около двенадцати я зашел в гостиную за своими учебниками, я застал мистера Лайденберга уже мирно спящим все в том же бумажном колпаке и со сложенными симметрично на животе руками. Шлепанцы и ботинки с носками стояли точно на том же месте, что и прошлый раз, белье и брюки аккуратно сложены, а на ночном столике молитвенник и на этот раз еще будильник, который, как выяснилось потом, в нужный час так и не зазвонил — с ним это случалось довольно часто.

«...В пять я встал, оделся и за четверть часа был готов. Все остальные, кроме Виктора, тоже были на ногах. Здесь оказался также один из гостей, который пришел уже после того, как я лег спать, и проспал ночь на кушетке с тем, чтобы сопровождать сестер с вокзала домой. Это был известный географ, сын и внук университетских профессоров. Мисс Мотовилова приготовила для нас чай, и когда в полшестого, точно в срок (и это в России!), пришел носильщик, мы впятером отправились на вокзал. Утро было прекрасно: на востоке светился тонкий-тонкий месяц, звезды сияли вовсю, было холодно, но мороз не обжигал. И на всем получасовом пути до вокзала никакого намека на воров, грабителей или каких-либо других злодеев.

По пути мы видели пожар. Горели верхние этажи же-

лезнодорожной почты. Здание горело вовсю, но, поскольку никто из местных жителей не волновался, я решил, что нет необходимости подымать панику. Как раз когда мы проходили мимо, подъехали пожарники, но, как и следовало ожидать, вода в трубах замерзла.

Мы пришли на вокзал ровно в шесть, и, если можно было полагаться на нашу информацию, поезд должен был прибыть в 6.25. В залах была масса народу, все толкались и куда-то спешили. Впрочем, нет, не все, некоторые пили чай у столов или жевали хлеб, но все же толпа в целом напоминала муравейник. Нам удалось устроиться возле стола, а носильщик отправился разузнать насчет поезда. Вернулся он с отрадной вестью, что поезд опаздывает всего на два-три часа. В ожидании его прихода я выслушал не менее десятка историй о том, как у людей воровали вещи прямо из-под носа, как воры взрезали чемоданы и как мало в Киеве людей, у которых за последние несколько лет ничего не украли. Забавно, не правда ли?

В девять мы простились с той сестрой, что была замужем, и с географом. К этому времени уже совсем рассвело, и оба они пошли на работу. Носильщик объявил, что поезд будет минут через десять, и я попросил мисс Мотовилову обязательно, когда она вернется домой, взять то, что я оставил на своей подушке. Я все ломал себе голову, как бы отблагодарить этих добрых людей, и прошлой ночью решил, что лучше всего будет оставить два червонца (около десяти долларов), приложив записку с просьбой купить что-нибудь матери в знак моей признательности. Поскольку мисс Мотовилова получает только 29 рублей (14,5 доллара) в месяц, а сестра 40 рублей, я считал своим долгом как-то выразить свою благодарность и думал, что лучше будет, чтобы они сами что-нибудь купили себе.

Поезд прибыл в 9,25, опоздав ровно на три часа. Я погрузился в вагон, простился со всеми и проводил глазами мисс Мотовилову и носильщика, которые, я был уверен, расстались со мной с чувством большого облегчения. Мисс Мотовилова дала мне открытку, чтобы я послал ее им с пограничной станции, и конверт для письма, заверив меня, что, получив эти письма, она готова будет отслужить в церкви благодарственный молебен. Да, если бы не она, не знаю, что бы со мной было, ибо достать этот злополучный билет из Киева во Львов оказалось самым трудным делом во всей моей поездке.

Я прервал свои записи, так как поезд подходил к Здолбуново на польской стороне границы.

Сейчас я сижу уже в варшавском поезде, он, как мне кажется, простоит еще долго, так как из-за заносов опаздывает какой-то другой поезд, из-за которого мы не можем выехать.

Подводя итоги, могу сказать, что Россия — страна чрезвычайно интересная, и я сожалею только о том, что мне довелось ее увидеть уже после революции; если бы я увидел ее до революции, я был бы в состоянии сравнивать сам и не должен был бы ждать, что скажут другие, и полагаться на их сообщения. Однако нет нужды добавлять что-либо к этому...»

На этом письма обрываются. Что было дальше, как гость наш пересек границу, был ли встречен в Варшаве неведомым мне Артковским и о чем, вернувшись наконец домой, у пылающего камина рассказывал он жене и детям, мне неизвестно. Из прочитанного же понял, что в двадцать третьем году библиотечное и музейное дело было поставлено куда лучше, чем

железнодорожное и телеграфное, что служба информации, мягко выражаясь, находилась далеко не на высоте, и, наконец, что бедного Лайденберга у нас дома перекормили, заговорили, к тому же не давали возможности лечь спать, к чему он, по-моему, стремился не меньше, чем к своей машинке.

Дней через десять — двенадцать после его отъезда, а может и больше, пришла от Лайденберга из Варшавы открытка. На ней над текстом, сообщавшим о том, что он благополучно прибыл в Польшу, нарисован был крест, очень аккуратненько, перышком, крест вроде кладбищенского. Мы долго ломали голову, не могли понять, что это значит, а потом вспомнили: кто-то из гостей на прощание сказал ему, что по русскому обычаю после удачно завершенного трудного дела крестятся, делают крест. Вот он и «сделал» крест. По-своему.

3

Как, очевидно, читатель уже догадался, двадцатилетний Стив, с которым мы уютно устроились под грибком возле «Кукушки», был не кем иным, как внуком нашего американского гостя и сыном того самого Джона, моего сверстника, которого, как и меня, кто-то по утрам снаряжал в школу и о котором так тосковал в Киеве мистер Гарри Миллер Лайденберг.

О своем приезде Стив сообщил мне письмом из Лейпцига: тогда-то, мол, буду в Киеве, очень хотел бы встретиться. И вот мы встретились.

К моменту знакомства со Стивом я уже имел кое-какое представление об американцах. Но именно кое-какое, весьма поверхностное, к тому же с молодежью его возраста, когда я был в Америке, сталкиваться мне почти не приходилось. А молодежь в Америке сейчас самое интересное. Пьер-Паоло Пазолини, известный итальянский писатель и режиссер, писал недав-

но в своих очерках после поездки в Соединенные Штаты, что студенчество там в подавляющем большинстве по-настоящему думающее, ищущее и весьма критически относящееся к государственной официальной политике США.

Стив мне показался именно таким.

Мы с ним провели почти полных два дня. Он оторвался от своей туристской группы (они, человек двадцать студентов, совершали в автобусах турне по Европе) и на эти два дня перешел в полное мое владение.

Сейчас я уже точно не помню, студентом какого курса Колумбийского университета он был. Специальность его — литература, преимущественно на английском языке. Русский язык и литературу изучает параллельно — просто интересуется Россией, Советским Союзом.

Американского, в том смысле, как иногда представляют себе молодого его соотечественника — спортивный, тренированный, веселый, общительный, а в общем-то несколько инфантильный, — всего этого в нем нет ни на грош. Напротив, сдержанный, деликатный, отнюдь не болтливый, внимательно слушающий и толково, без всякой задней мысли отвечающий. Любознателен, искренен, интеллигентен.

В первый же вечер я свел его с одной компанией. В основном это были киевские газетчики и журналисты, разбавленные немного инженерией и литературоведением. Он, конечно, был центром и еле успевал отвечать на вопросы.

— Об одном прошу, — сказал он в самом начале, медленно, но правильно подбирая русские слова, — не говорите со мной о политике. Я не госдепартамент, не Пентагон и не канцелярия президента — я не хочу за них отвечать.

Все рассмеялись, обещали не спрашивать, но к концу вечера все же не удержались, а он умоляюще посмотрел на меня: спасите. . .

На следующий день, гуляя по городу, а потом, после обеда, устроившись на диване, мы говорили уже обо всем. Я понял, что он хочет учиться, работать и дружить...

Но как дружить?

И вот тут я услыхал горечь в его голосе.

За неделю, а может даже и за десять дней, что они ездят по Союзу (а побывали они уже в Минске, Москве, Ленинграде, Харькове, а после Киева еще Львов), он перевидал массу людей, их возили по музеям, на заводы («я даже подсчитать не могу, сколько их было»), в клубы, пионерские лагеря, на комсомольские вечеринки, но...

— Народу всегда много. Столы. На столах лимонад и яблоки. Ребята почему-то все в галстуках. Очень подтянутые, прямые, вежливые. Сначала один из них говорит, как они работают, как учатся, приводит какие-то цифры — план, так это у вас называется? Потом все поют. Разные песни, хором. Потом танцуют...

— Твист, что ли? — улыбнулся я.

— Что вы, то, что наши бабушки еще танцевали...

— Но, кроме песен и танцев, — перебил я его, — поговорить с кем-нибудь все же удалось?

— Удалось... За все время я только... — он на секунду задумался, — три раза по-настоящему поговорил...

— Поговорил-таки?

— Да. И это было самое интересное в Советском Союзе. Интереснее Эрмитажа, Оружейной палаты, — тут он хитро улыбнулся, — и даже метро...

— Где же?

— Один раз в Ленинграде. В студенческом общежитии. Вернее, в столовой общежития. Зашел туда на минутку перекусить и вышел через два часа. Кроме меня было еще два иностранца, не из нашей группы. Студенты, американец и англи-

чанин, остальные ваши ребята. Не было ни лимонада, ни яблок, все друг друга перебивали, и кончилось все тем, что мы с одним из парней, Николаем, протрепались до утра, шатаясь по ночному Ленинграду.

Слово «протрепались» у него не сразу получилось, но я сразу почувствовал, что ему приятно этак невзначай употребить это жаргонное словечко.

— О чем же вы трепались?

— Да обо всем. Живой парень, умный, злой и веселый. И на гитаре играет, и песенки поет. И не хвастун, и защищаться умеет, и в атаку ходить. Не в штыковую, без крика «ура», а как на ринге... Раза три в нокдауне я побывал-таки.

— А он?

— Ну и он тоже раза два...

— Кто же победил?

— Кто? — Стив почесал свой круглый затылок. — Он считал — что он, я — что я. Ну, а потом, утром уже...

— Потом я знаю, что было.

Стив рассмеялся.

— Какой вы все-таки догадливый...

Я перебил его.

— Ясно. Это первый раз. Второй?

— Второй в Харькове. На каком-то заводе. Не помню уже каком — все в голове смешалось. Там оказался умный директор, сам послал какого-то парня в соседний магазин — «Гастроном», кажется, у вас это называется, — было весело, и устроили конкурс на твист, и представьте, ваши ребята победили. Потом, ночью уже, поехали куда-то в лес, жгли костры, пекли картошку, и я совсем забыл про «Спутник», и мне показалось, что я совсем свой среди них... Вот такими я русских и представлял и полюбил, как Николай и эти — как это они себя называли — хлопцы...

— Так. Николай — раз. Хлопцы — два. А третий раз?

— Третий? Третий — вчера, у ваших друзей. Кстати, — тут Стив, хитро улыбнувшись, посмотрел на меня, — а вы знаете, что вы первый в моей жизни коммунист, с которым я познакомился и вот так вот сижу на диване после сытного, вполне буржуазного обеда...

— Ну и как?

— Очень вкусно, но слишком много...

(Ганна Ивановна на этот раз действительно постаралась — украинский борщ, вареники со сметаной, а я еще подбавил горилки с перцем.)

— Но это обед, а коммунист?

Стив пожал плечами.

— Ваша мама и тетя дали приют моему дедушке, разве я могу что-нибудь дурное о вас сказать?

Вывернулся. И опять заговорил о своих встречах в Москве, Ленинграде, Харькове.

— А вот одна комсомолка в Ленинграде — ее звали Нинель, — очень красивая, со вкусом одетая, огорчила меня, сказала мне... Я ее спросил: «Так по-вашему, ничего в Америке хорошего нет?» — «Почему нет? Техника у вас хорошая, рабочий класс...» Я удивился. И это все? А литература, искусство, кино, наконец архитектура? А Хемингуэй? «Мало социален, не ставит серьезных проблем, много пьют, излишне сексуален...» — «А у вас что — мало пьют?» — не выдержал я. «Бывает, что и пьют, но мы с этим боремся». — «А еще с чем вы боретесь?» — «С природой». Это меня доконало.

Мне досадно было это слушать. И обидно. Какая-то дуреха, знавшая, как выяснилось, из американской литературы только Тома Сойера и несколько рассказов Хемингуэя, развязно судила о том, о чем имела весьма приблизительное представление.

Мне обидно было это слышать, потому что Стив, приехав к нам, искал больше хорошего, чем дурного («я так много о вас читал, и так хотелось увидеть все собственными глазами»), а в Нинель он увидел как раз то, за что невольно всегда краснеешь, — развязную похвальбу, высокомерие и презрение ко всему «не своему» — понятия столь несвойственные настоящему русскому человеку.

Стив был тоже огорчен.

— Я приехал в страну, которую люблю. Может быть, это и слишком сильно сказано, но, в общем-то, в страну, к которой меня всегда тянуло. Пушкин, Толстой, Достоевский, Чехов... В двадцатом веке Блок, Есенин, Маяковский. Все это так не похоже на нас и так интересно... Потом война. О ней я, правда, только по книгам знаю. А эта Нинель, между прочим, сказала: «Вы считаете, что войну выиграли вы, а на самом деле — мы». Я, например, не считаю. Я знаю, что вам было тяжелее всех, и со вторым фронтом мы тянули, а Сталинград был все-таки у вас, и Берлин взяли русские...

Тут Стив вдруг смутился.

— Простите, что я об этом заговорил. Я не хотел. Само как-то получилось. Возможно, у меня другое воспитание — хорошее или плохое, не знаю, другое, — но я не люблю, когда меня чрезмерно уговаривают. И всегда сопротивляюсь. И может, от этого становлюсь несправедливым, необъективным... А может, это мне кажется... Но дело не в этом. Дело в том... Я не знаю, как это объяснить... Вот когда я читаю у нас в газетах или смотрю в телевизор, как на юге у нас негритянских детей в школу ведут полицейские, чтоб их не побили белые, — мне больно, стыдно, я даже выключаю телевизор. Да, выключаю. Но если я встречусь с русским парнем или девушкой, я никогда не скажу — неправда, у нас нет дискриминации. Она у нас есть, и это позор, я знаю. И мы, молодежь, — я говорю о нас, сту-

дентах, — с этим позором боремся. Не скрываем его, а воюем с ним. Вот поэтому я и Николая полюбил — хорошим гордится, с плохим воюет.

Я слушал Стива, смотрел на него — горилка с перцем сделала все-таки свое, он говорил горячее и оживленнее обычного, — а думал о себе.

Вот и мне было когда-то двадцать лет. У Стива это середина шестидесятых годов — разгар войны во Вьетнаме, многие из его сверстников там, он очень это чувствует. У меня этот возраст совпал с началом тридцатых годов — период не самый легкий в стране, хотя войны и не было.

Чем я жил? Так случилось, что в этом возрасте я раздвоился — одной рукой чертил проект вокзала на тоненьких ножках (так полагалось!), другой гримировался Хлестаковым и Раскольниковым... А по ночам в полусвете, за черным круглым столом у Сережи Доманского мы читали друг другу сногсшибательные гофманиады и считали себя не похожими ни на кого другого, гениями не гениями, но чем-то вроде этого...

Осуждаю я себя за это? Да нет. Молодости многое прощается.

Позднее, в конце тридцатых годов — самых сложных в двадцатом веке, — я бросил архитектуру и лицедействовал на подмостках, в разных «Парижских нищих» и «Тайнах Нельской башни» (вернулся-таки к «Тайнам...»), посягнув даже на Вронского, в свободное же время писал идиотскую «под заграницу» повесть: «Так погибла «Конкордия»... Приди ко мне сейчас двадцатипятилетний балбес с подобной дребеденью, я б погнал его в шею, сам же я, ничтоже сумняшеся, отволок свою «Конкордию» Новикову-Прибою, приехавшему с выступлениями в Ростов-на-Дону, где я тогда работал в театре. Слава богу, принят я не был: старик в тот вечер был не в форме, а на следующий день уехал. Какое счастье! К слову сказать, в это время уже

вовсю бушевала вторая мировая война и не за горами было 22 июня...

Стыжусь я всего этого? Ничуть. Молодости многое прощается.

В двенадцать лет, когда приезжал к нам «старик» Лайденберг, я мечтал стать знаменитым писателем. К двадцати годам мои аппетиты еще пуще разгорелись — кроме литературной деятельности, я искал славы в архитектуре и театре. Найти мне ее не удалось: началась война.

Теперь я понимаю, что был просто честолюбив, а может быть, даже и тщеславен. Хотел выделяться. Плохо ли это? Очевидно, да. И все же — молодости многое прощается.

Многое, но не все...

Неведомая мне ленинградка Нинель не представляет даже себе, какой вред нанесла она и себе и всем, думая, что говорит правильно. Она сделала все, что было в ее силах, чтоб оттолкнуть, разочаровать, разуверить в нас хорошего, честного, тянущегося к нам американского парня. И может, именно поэтому Стив так разгорячился, именно поэтому говорил больше о наших недостатках, чем о Достоевском и Маяковском, которые его так интересовали. А этого — я знаю! — не было бы, не встреться он с Нинелью. Спасибо неведомым мне Николаю и «хлопцам» — не будь их, несдобровать бы Стиву. Да и мне, ставшему его старшим товарищем, тоже.

Я столь близко принял все это к сердцу потому, что верю в силу дружбы, скажу даже — в великую силу дружбы. В случае со Стивом я убедился, как легко ее наладить и как не менее легко разрушить.

Все услышанное очень огорчило меня. И заставило о многом задуматься после отъезда Стива.

Но было и радостное. И этим радостным был сам Стив...

Мне приятно было увидеть у Стива ту широту и глубину

интересов (значительно большие, чем у меня в его возрасте) и значительно меньшее (во всяком случае, чем у меня в его возрасте) увлечение своей собственной персоной и ее успехами в жизни. Скажу по секрету, своей серьезностью Стив если не огорчил, то все же несколько озадачил меня — где же столь свойственная американцу веселость, грубоватость, шутка, любовь к проказам, забавная и в то же время трогательная инфантильность? Не слишком ли «взрослел» мой Стив?

Мои опасения были опровергнуты несколькими строчками письма, полученного мною от него месяца три спустя после его отъезда. Сообщив вначале о дорожных злоключениях (по дороге в Вену поломался автобус) и о своей пятидневной жизни в Праге («даже красивее, чем Киев»), он писал дальше о Париже (текст не редактирую):

> «. . .Там с 5 августа по 5 сентября я гулял, туристовал и написал песу с рок-н-ролльской (так сказать по-русский, не правда ли?) мусикой. Я не писал мусику для песы, только слова. Кажется, я совсем без мусикальной способности. Может быть, кому-то здесь, в Коломбиском университете, хотелось бы написать мусику. . .»

Ну вот, а я боялся излишней серьезности. . .

Дальше в письме говорилось, что он слушает сейчас курс английской литературы восемнадцатого века («Это значит я читаю Свифт — великий как великий») и что недавно был на выступлении Евтушенко. («Его стихи мне не совсем понравились, но он очень хорошо прочитал их и очень остроумно отвечал на вопросах, почти слишком остроумно. . .») Кончалось же письмо словами благодарности, которые, само собой разумеется, не могу не привести, ни на минуту не забывая Нинели.

«...Я решил вам благодарить за всего, что вы сделали за меня, вам и всем вашим друзьям, женщине, которая мне отдала «Идиот» (несмотря на то, что я не прочитал его), женщине, которая сварила те отличные блюда, особенно холодный борщ. Как я вам сказал, я много учился о Советском Союзе и о русском народе благодаря за вас. Непохож на многие поучительные испытания — это очень приятно.

Хорошая здоровя вам и вашей матери.

Искренно

Стив Лайденберг».

В середине прошлого года от него пришло еще одно очень славное письмо, из которого приведу несколько выдержек, опять-таки не редактируя их:

«...Дедушка умер, когда у меня был 12—13 лет — и жил с сестрой в Охайо — далеко от нас в Нью-Ерке (Нью-Йорке. — *В. Н.*) — и я ему редко видел. Последние три лет его жизни он лежал в постелье, потому что получил удар в голове и парализованный был на левом стороне. Тогда ему не удалось говорить, но его ума совсем сохранилась до конца. Случилось, что я ему читал из книгой о пионерах в Западе и не понимал смысла одного слова. Я ему спрашивал: это так значит? И он мне отвечал с руками: нет, это значит — и мне показал другую смысль. Очень он доброумный был. Ему 87 лет, когда умер.

Отец дедой был барабанчик в наш Внутренней войне (1860—65). Когда у дедой были три года, его отец на союзе солдать был убитый. Как убитый не могу написать по русский вот — по английски (дальше английский текст)... Он бил

самым маленький солдат в своем полку. На одном из праздники его качали, подбрасывали вверх и вниз на простыне. И вот он не попал на простыню, упал на землю и сломал себе позвонок.

Деда беден был и без отца, когда он хотел поступить в Гарвард, ему надо было работать. Там он работал в библиотеке, когда учился и кончил университет во время трех летов (нормально надо 4). После университете он заработал для Нью-Еркской публичной библиотекой. Он там и работал до сих пор, как у него было 65 лет. Последние 5 или 6 лет он был там глава, как вы знаете. Когда он был к вам, он не был главом, а второй или третий человек.

Когда он пошел в уставку (65 лет — 1940 г. приблизительно), он уехал в Мексико, в столицу Мексико-сити, и устроил часть Нью-Еркской публичной библиотекой и после этого в Охайо. Там, как везде, где он жил, у него был сад. Очень энергичный и активный человек и очень добрый...»

Дальше идет рассказ о его семье (отец — профессор маленького колледжа Хобарт, мать работает с черными и бедными и помогает им найти квартиры и службу — очень добрая женщина, сестра девятнадцати лет не хочет поступать в университет, а решила «заниматься как матери, только в большом городе»), потом о друзьях по школе и университету, и кончается все несколькими словами о его поездке:

«...Я не доволен был путешествовать со «Спутником», потому что все был много организованно и поэтому были границы на том, что мы видели и о том говорили. После того, что я был Киеве, мои воспоминания Советского Союза

больше лучше. Русский народ очень дружелюбный, и люди в Советском Союзе лучше воспитаны, по моему, чем в Америке, — надо сказать, что они больше любопытнее о делах в Америке, чем американцы о делах в СССР. И все же я предпочитаю жить в Америке, — точнее — предпочитаю жить в Америке, чем путешествовать в СССР как турист. Что такое жить в СССР мне еще не совсем понятно, даже после встречей с вам. Другой раз больше узнаю... В этом лету не буду в СССР. Может быть, в 1968 — у отца свободный год — и возможно мы с семьей будем в Европе. Привет вам, матери и кухней — привет от меня и семей.

Стив».

Вот и вся история, растянувшаяся почти на полстолетия.

Насколько она поучительна? А я не знаю. Можно было бы, конечно, поиграть немного на параллелях — двадцать третий и шестьдесят шестой, — внуку, например, куда легче было добраться до Львова, чем сорок с лишним лет назад его деду, и, появись сейчас дед, он получил бы моментально в гостинице «Дніпро» прекрасный номер с горячей и холодной водой, и билеты в Нью-Йорк доставала бы ему любезная гидесса, говорящая не меньше чем на трех языках, — одним словом, можно было бы поговорить о разительных переменах и растущем благосостоянии — но вряд ли это здесь было нужно. Просто мне захотелось рассказать про дедушку и внучка. И немножко (впрочем, может быть, несколько больше, чем нужно) о себе. Но тут, я надеюсь, читатель меня простит — так приятно вспоминать свое детство и юность.

1968

P. S.

Этот Postscriptum, если бы P. S. имел название или появись он в виде письма в газету, я назвал бы: «Извинение перед читателем и императором Францем-Иосифом».

И вот почему. В только что прочитанных читателем воспоминаниях — каюсь в этом чистосердечно — я допустил грубую ошибку. Ошибку, за которую хотя и не очень краснею, но получил крепкую взбучку от тех читателей, которые имеют обыкновение делиться с писателями своими мыслями по поводу прочитанного.

Я не могу похвастаться, подобно одному известному московскому поэту, писавшему где-то, что получил в связи с одним из своих стихотворений 20 000 читательских писем, не могу, повторяю, похвастаться ничем подобным. На «Дедушку и внучка» откликнулось не более трех-четырех десятков читателей, в том числе и просто друзей, но они не в счет. Так вот, 99 процентов этих читательских писем посвящены — нет, не Гарри М. Лайденбергу, и не Стиву, и не тетке моей, и даже не дурацкой Нинель, — а... австро-венгерскому флоту.

Перелистайте несколько страниц назад, туда, где я вспоминаю о журнале «Зуав», и вы натолкнетесь на цитату из романа (повести, рассказа, трилогии, тетралогии. . .?) «Медуза»:

«— Корабль на горизонте.

— В скольких милях?

— Приблизительно, в трех.

— Национальность?

— Австрийский. . .

— Открыть огонь!» и т. д.

Да, не сохранись этот номер «Зуава», я никогда и не подозревал бы, что у Австро-Венгрии, не имевшей никогда

ни одного морского порта, был свой собственный военный флот.

А ведь был, черт возьми, был! И порты были... И я знал об этом, но... Что поделаешь, виноват, каюсь!

Очень мило и тактично указал мне на мою ошибку (назовем это так) ленинградский писатель Лев Успенский. Настолько мило и изящно, что позволю себе привести большую цитату из его письма (настолько большую, что, боюсь, придется поделиться частью гонорара):

Лев Васильевич старше меня ровно на десять лет, поэтому он и пишет в своем письме:

«Видите, что значит десять лет разницы в такое время! Для вас Австро-Венгрия уже стала почти что фикцией, а для меня в мои 13 лет она была «великой державой». Я ее карты перечерчивал тысячи раз и отлично знал, разглядывая фотографии «Граф Эренталь на променаде в Аббации», что в те дни, «в мое время», — до того, как все в мире закувыркалось, — северная граница «Двуединой монархии» (так ее тогда звали) упиралась в Адриатику северо-западнее Триеста, очень крупного порта, оставляя во владениях Габсбургов весь полуостров Истрию, и на его южной оконечности большой военный порт Полу. Дальше коронные владения Австрии тянулись вдоль восточного берега Адриатики на три с лишним градуса, километров на 350, вплоть до черногорской границы, причем столица Черногории Цетинье была под прямым обстрелом морских пушек третьего значительного австрийского порта Катарро, и, наоборот, само Катарро во дни войны страдало от огня черногорской артиллерии, установленной на горе Ловчен, над столицей. Страдали и корабли.

Теперь о кораблях. Помимо Жюля Верна, капитана Ма-

риетта, Конан-Дойля и всего того, чем мы с Вами увлекались «в четыре руки», моим любимым чтением в те годы (в мои 13) были еще ежегодно обновлявшиеся немецкие «Ташенбухи дер Кригсмаринэ» и наши сборники «Российский Императорский флот». Так вот, во-первых, гогенцоллерновская Германия выдвигала, естественно, на первое, вслед за собою, место свою союзницу, Австрию. И в каждом таком сборнике непременно изображался один из лучших дредноутов тех лет, флагман австрийского флота, известный своими трехорудийными башнями главного калибра линкор «ВИРИБУС УНИТИС» (его изображение Вы, вероятно, и видели). Имя его, доставлявшее удовлетворение мне, гимназисту-классику, по-латыни значило «Соединенными силами» и было придано ему потому, что этот первый дредноут был построен на собранные по подписке средства.

Так как Австро-Венгрия была «двуединой», то рядом с этим кораблем, австрийским, был заложен и второй, венгерский, названный странно: «Сент-Иштван». Лишь много лет спустя я узнал, что это название означало всего-навсего: «Святой Стефан», покровитель Венгрии. Узнал уже тогда, когда хитроумные итальянские диверсанты, прообраз нынешних аквалангистов и всяких там «камикадзе» и «коммандос», сумели, пробуксировав вплавь мины в порт Полы, присобачить их к борту громадины, завести адские механизмы, уплыть и потопить корабль «без личного участия». «Сент-Иштван» вошел в строй во время войны 1914—1918 гг. Но кроме него и (кроме «них») у Австрии был вполне приличный флот; правда, выбраться из Адриатики у него никакой надежды не было, но ведь и мы были также заперты в наших главных морях.

Я не думаю, чтобы многие из Ваших читателей, подобно

мне, заметили эту Вашу неточность. Не думаю я, что Вам ее стоит «в строку ставить»: как Вы воспринимали мир в 1924 году, так его некоторые черты у Вас в памяти и сохранились. Да и для рассказа — ей-богу, один черт, были у Австрии габсбургской эры порты и флот или их не было.

Но вот покойный адмирал Исаков, постоянный «новомирский» автор, Вам бы этого не спустил. Да и всегда может найтись какой-нибудь литературный задира, который наскочит на Вас из-за куста, придравшись к случаю».

Бог с ними, с этими задирами, скажу я. И вообще, вся эта флотская коллизия выеденного яйца не стоит (я спокойно мог заменить в этом издании «Австро-Венгрию» на послевоенную Австрию), но зацепился я сейчас за этот злосчастный факт, собственно говоря, не из-за него самого, а как за некий предлог немного порассуждать о читателях, их письмах и кое о чем ином, связанном с этими письмами.

Письма читателей разделяются в основном на:

1) хвалебно-благодарственные,

2) осуждающе-разоблачающие,

3) уличающие в ошибках

а) с благими намерениями,

б) с обратными намерениями. (Письмо из Ленинграда, все о том же флоте: «Автор за эту «историю с географией» заслуживает двойки. Однако, справедливости ради, ее следует разделить с кем-то из редакционной коллегии. И выйдет «по единице на брата». Что ж это за постановка дела в редакции, если возможны такие огрехи?),

в) из любви к ловле блох — («В Киеве было кафе «Семадени», а не «Сомадени»...» Моя вина, плохо просмотрел корректуру.),

4) письма, говорящие, что читателя что-то в прочитанном

всколыхнуло, напомнило, к чему-то вернуло, а писателю на что-то открыли глаза,

5) письма, заводящие или восстанавливающие былые знакомства.

О первых трех категориях говорить не будем. Скажу только, что меня просто удивляет, откуда у людей в основном занятых (пенсионеры не в счет) находится время и желание, отложив книгу либо отменив очередной поход в кино или выпивку, садиться за стол, брать перо ну и т. д... Но это, по-видимому, своеобразный вид графомании, а излечению она не поддается.

Но вот последние две категории — это уже не графомания. Это нечто посерьезнее. Особенно для писателя. Значит, ему чего-то удалось добиться...

В случае с «Дедушкой и внучком» меня поразило, что именно та часть этих воспоминаний, которой я немного стеснялся, которая казалась мне затянутой и слишком «личной», именно эта часть и задела «четвертую» категорию... «...Я надеюсь, читатель меня простит — так приятно вспоминать свое детство и юность».

«Вспоминайте, вспоминайте! — пишет одна из читательниц. — Нам тоже, поверьте, приятно вспоминать...»

И вспоминают. Каждый по-своему. И о своем. И это помогает тебе. И тоже как-то расшевеливает. И дополняет. И идут круги по воде. Все шире и шире...

«Старые» киевляне, рассеянные сейчас по всему Союзу и даже свету, вспоминают «старый» Киев, со «старыми» названиями улиц, сверстники «моего толка» — Жюля Верна, «Мир приключений», Дугласа Фербенкса. И вот теперь, завязав переписку, мы вместе, уже «частным порядком», дополняем друг друга и, не боясь в данном случае блох, в чем-то даже уличаем друг друга. И нам становится от этого веселее и легче, хотя мы и не знаем друг друга в лицо.

«Вы — киевлянин, — пишет все тот же Лев Успенский, — я — петербуржец и ленинградец. Но был в моей жизни такой кратчайший период, когда я три месяца жил на Владимирской, около Фундуклеевской, учился в страшной бурсе — Екатерининском Реформатском Реальном училище на Лютеранской, ходил читать Жюля Верна и Герберта Уэллса в библиотеку Идзиковского, смотрел с Владимирской горки на Подол и дивился на каменные бабы в Ботаническом саду за Университетом. Был 1911 год, мне было 11 лет; прямо вроде как для моего самообразования, Богров застрелил в Большом Театре (вот и не в Большом, а в Городском, дорогой Лев Васильевич, поймал-таки. — *В. Н.*) насупротив тогдашнего нашего дома Петра Столыпина, а повыше по Владимирской, к Золотым Воротам я каждый день видел во дворе не то недостроенный, не то полуразрушенный маленький самолетик (там жил психиатр И. Сикорский, и его сын Игорь Сикорский был моим кумиром, потому что я видел, как однажды он летел над слиянием Днепра и Десны — видел из Царского Сада). И вспоминается мне еще и пресловутый дом Городецкого в Липках, перед которым были скульптуры то ли льва, то ли львицы, то ли пумы (я ее видел всегда «пумой»), а на фасаде и удавы — водосточные трубы и слоновые головы и целый Гагенбек. . . Все этот дом не одобряли, а мне он очень нравился, напоминал Маугли. (Мне тоже! — *В. Н.*) А сын Городецкого, поступивший в тот же класс, что и я (во 2-й), но бывший на три года старше нас, второклассников, был довольно отрицательным персонажем, ходил «к девочкам» на какие-то улицы, сменившие собой купринские Ямки, бил смертным боем младших, особенно «кишат», и я — я был здоров как бык и ростом обгонял даже четвероклассников — сильно лютовал в боях с ним.

Ведь время-то было какое: Чеберячка жила в этом времени. И только-только убили Ющинского. И после убийства Столыпина нас пригнали на молебен «о здравии болярина Пет-

ра», а у меня рука не поднималась креститься, потому что в доме у меня выражение «столыпинский галстух» было употребительнее, чем «болярин Петр»...»

Вот так-то... Вот и повспоминали мы со Львом Васильевичем старый, любимый Киев (и Золотые Ворота, и Владимир с крестом, и дом Городецкого, все это, слава богу, на месте. Нет только бурсы, библиотеки Идзиковского и перед Оперным театром возводят сейчас 12-этажную громадину, а Игорь Сикорский стал знаменитым авиаконструктором в США), и все это благодаря «Медузе» и линкору «Вирибус унитис». Как хорошо, что Лев Васильевич увлекался в детстве справочником «Ташенбух фон Кригсмаринэ»... И как хорошо, что он «придирчив».

«Понять не могу: почему это так? — пишет далее Успенский. — Когда вычитываю свои собственные вещи, пропускаю ужаснейшие ляпсусы: недавно вон Эгейское море назвал Ионическим и ни в одной корректуре не заметил, пока добрые люди не указали.

А при чтении чужого текста малейшая корзубинка бросается в глаза. Напечатали в «Литературке» года два назад фото «Красная Гвардия на улицах Петрограда», так мне первым делом в нос ударила вывеска «Братья Бландовы». А такая фирма «Сыры — Масла» была только в Москве; у нас в Питере ими «и не пахло». Именно приезжая изредка до революции в Москву, я дивился: буквально на каждом углу там были обязательно две молочные: белая кафельная вывеска «Братья Бландовы» и золотая по синему «А. В. Чичкин». И я нарисовал себе такую картину: жил-был старый добрый купчина А. В. Чичкин. Поступили к нему на работу галантерейных обычаев молодцы — братья Бландовы. И мало-помалу скопили капиталец, открыли свое дело и теперь прижимают старика. Он откроет новый магазин, а они-с — насупротив-с...

Я придумал это и рассказал старому москвичу, отцу. Он удивился. «Эк, как ты все это здорово сообразил... Только — как раз навыворот! Были старики Бландовы, истовая старообрядческая фирма. К ним поступил бойкий родственничек, разбитной «услужающий» Чичкин. И преуспел, как какой Подхалюзин; и взял в жены бландовскую дочку; и теперь их гонит и разоряет...

Вот почему мне Бландовы и запомнились. А тут мне их делают питерцами... Вы, пожалуй, подумаете: «Экий кляузный тип... Читает и только и ищет всякие погрешности!»

Вот уж никогда не ищу и таких искателей «нэ-на-ви-жу», как Козлотур домашних коз. Но что поделаешь: глаз такой».

Ну и хорошо, что такой, — иначе мы б и не познакомились... Такие глаза в жизни очень нужны, они принадлежат не «джетатторе», как называют итальянцы людей с дурным глазом, — они не сглазят...

А вот с москвичом, обладателем уникальной фамилии Абезьянин, я познакомился без участия двуединой монархии, а с участием «Мира Приключений» и все того же Дальтон-плана, по которому тогда же, в двадцать третьем году, в далекой Астрахани изучали кроме Гастева еще и Неверова, старательно отгоняя пятигруппников, как и у нас, от «дворянски-буржуазных» Пушкина и Толстого.

И читали мы, оказывается, одно и то же, он даже больше: («...Держу пари, — пишет Абезьянин, — что вы так и не узнали о замечательном русском романисте буссенаровского толка Барченко и его двух романах «Доктор Черный» и «Из мрака», где и Тибет, и Лхасса, и индийские йоги, и масса всякой всячины...» (Нет, не узнал!) И в кино бегали на одни и те же картины. Впрочем, в этой, второй области Абезьянину повезло больше, чем мне, хотя у меня и был знакомый администратор «у Шанцера». Абезьянину в двадцать пятом году посчастливилось работать уче-

ником киномеханика в лучшем астраханском кинотеатре «Модерн», и вот тут-то, говорит, насмотрелся он картин «от пуза».

«Здесь позволю, — пишет он, — опять некоторые уточнения (выше он поймал меня на том, что Берроуз и Кервуд появились у нас только в двадцать шестом году. — *В. Н.*) В 1923 ковбой еще не прорвался на российский экран. Уходили в прошлое «Отец Сергий» с Мозжухиным и многосерийный «Дом ненависти» с «вамп» Пирл Уайт. (Вот и неправда! Я ходил тогда уже в профшколу, значит, это был двадцать седьмой или двадцать восьмой год. — *В. Н.*) И прежде всего вытеснил потрясающий «Потерянный город» (вспоминайте, вспоминайте, может пригодиться!). Затем уже в конце 1924 года прискакала на резвом коне Руфь Ролланд (трехсерийный «Таинственный всадник»), а в 1925 развалистой походкой, ведя в поводу пегого мустанга, неповторимый («Шериф желтой собаки») Вильям Харт, до которого, конечно, далеко всем последующим рыцарям киношных драк и погонь, начиная от Тома Муни и кончая последним, показанным нам (как выяснилось, по ошибке) Криссом-Юл Бриннером. . .» и так далее, так далее. . .

И хотя мне и моему корреспонденту сейчас далеко за пятьдесят, как понимаю я его, читая заключительные строки письма.

«В 1962 году трое мальчиков моего приблизительно возраста смотрели в кино «Ленинград» «Великолепную Семерку». Кончился сеанс в 1 час ночи (тогда так бывало), и мы, выйдя из зала, кинулись к своим мустангам — мотоциклам (у всех английские мощные машины), вскочили на них и понеслись в центр города по стремительной ленте Ленинградского шоссе со скоростью близкой к сотне километров. Вспоминаю об этом без всякого стыда, и не потому, что я профессиональный мотоциклист и бывший гонщик и в общем-то не особенный романтик — но вот что значит эмоциональный заряд!»

А чего стыдиться? При всем своем уважении к Феллини,

Антониони, Бергману и другим китам я сам смотрел «Семерку» четыре раза, и, будь у меня мотоцикл и умей я им управлять, я сделал бы то же самое у нас в Киеве по Брест-Литовскому или Броварскому шоссе. . .

Еще несколько слов о «пятой», самой приятной категории корреспондентов. К ней относится наиболее обрадовавшая меня встреча — сначала письменная, а потом и «очная». С женой нашего скаутского «Начота» — могучего и прекрасного, как викинг, Коли Свенсона. Самого Коли давно уже, с 1937 года, нет в живых, жена его живет и работает сейчас во Львове, но встретились мы в Киеве на квартире ее подруги. Компанию нам поддержали еще двое бывших скаутов (обоим уже крепко за шестьдесят) — некий Дзига, семью которого я давно и хорошо знаю, и первый (до Свенсона) начот ОСГН (Отряд скаутов гимназии Науменко — так раньше называлась наша 43-я Трудовая школа) Коля Грюнер, тоже предмет нашего детского преклонения и восхищения.

У Коли, нет, будем говорить уже у Николая Максовича Грюнера жизнь сложилась тоже не сладко. Много он перевидал на своем веку и во многих местах перебывал, но на пенсию перешел буквально за неделю до нашей встречи (он инженер-электрик) и стариковского в нем нет ничего, кроме красивой сплошной седины. Когда мы встретились с ним после 45-летнего перерыва на станции метро «Хрещатик», я был поражен его видом: высокий, стройный, подтянутый, в руках чемоданчик — он шел из плавательного бассейна. . . Живет он в Киеве, на окраине, на Лукьяновке, в маленьком домике с садом, а в саду сирень со стволами, как у доброго крещатиковского каштана.

Я как-то уже писал о том, что боюсь встреч с прошлым, боюсь натянутости, неестественности, злоупотребления «а помнишь? а помнишь?», но в этот день, когда мы встретились (а за столом разместилось в общей сложности 250 лет!), не было ни натянутости, ни фальши, ничего того, что должно имитировать

прошлое, хотя, конечно, «а помнишь? а помнишь?» было в достаточной степени. Не было и Коли Свенсона, была память о нем, моя, влюбленного «кишонка», его жены и его «соратников» — хорошая память.

Но хватит, а то я никогда не выберусь из тенет тех далеких лет, когда мне еще не было пятнадцати — «критического» для меня возраста, — до этого возраста я еще мог стать «пятнадцатилетним капитаном», но опоздал ровно на столько же, ставши в войну «тридцатилетним капитаном», да и то не морским, а саперной землеройкой.

На этом можно было бы и кончить, но еще несколько слов о Джоне Лайденберге и Стиве. Я получил письмо из Парижа, Джон ходил в советское посольство, чтоб достать «Новый мир» с письмами своего отца. Там симпатичный молодой человек в свитере сказал, что номер журнала он достанет, за ночь прочитает «Дедушку и внучка» и просит мистера Джона прийти к нему завтра в 10 часов утра. Джон пришел, и в течение четырех часов молодой человек переводил и пересказывал ему, американцу, написанное о его отце и сыне в далекой России.

От Стива письмо пришло через год.

«Я очень быстро и с большим вниманием прочитал статью, даже все эти письма дедушки. Вы точно описали себя, но я уверен, что не так хорошо и остроумно выражался по русский и невел себя так дипломатическо. Но дух нашей встречи там действительно есть».

Почему же так долго шло письмо? «Просто я женился шесть месяцев тому назад и очень счастливый этому». Все понятно.

1970

ТРИ ВСТРЕЧИ

Герой в книге и в жизни... Как много об этом уже написано — умного, интересного, поучительного. И все-таки, сколько бы ты ни прочел книг и статей на эту тему, разобраться по-настоящему в этом сложнейшем клубке взаимоотношений не удастся, пока не обратишься к тому, что испытал на собственном горбу, на собственных ребрах.

Прошло ровно пятнадцать лет с того дня, как я расстался с человеком, с которым дружил очень недолго — менее полугода, но память о котором сохранил на всю жизнь. Мы расстались — я хорошо помню этот день — 25 июля 1944 года в Люблине. Он пришел на следующий день после моего ранения в санчасть, где я лежал, и принес мне ложку, бритвенный прибор, зубную щетку, мыло и планшетку с документами. Звали его Валега.

Познакомились мы с ним в марте того же года, незадолго до того, как наши войска форсировали Южный Буг. По счастливой случайности я попал после госпиталя в саперный батальон той самой дивизии, в которой воевал еще в Сталинграде. Получил назначение замкомбатом по строевой, а Валегу мне дали в связные. Не могу сказать, чтоб он обрадовался этой новой

должности. Присланный начальником штаба, он стоял передо мной, маленький, головастый, недоброжелательный, с глазами, устремленными в землю. Я вспомнил Котеленца, комбатовского ординарца — озорного, хитроглазого, легконогого пройдоху — и невольно подумал: бирюк...

— Ну, так как, — сказал я, — пойдешь ко мне в связные?

— Как прикажете, — сумрачно ответил он.

— А хочешь?

— Нет.

— Не хочешь? — Я удивился. Обычно об этой должности «не бей лежачего» только мечтали.

— Нет, — повторил он и впервые поднял глаза, маленькие и очень серьезные.

— А почему?

— Так...

— Что это значит — так?

Он пожал плечами и опять, только тише, повторил свое «так».

Я все понял. Ему, оборонявшему Сталинград солдату-саперу, казалось зазорным идти в услужение. Это решило вопрос. В тот же вечер он перетащил ко мне свой «сидор» и, узнав, что поручений никаких нет, сел у лампы и молча стал чистить автомат.

Мы провоевали с ним недолго, всего четыре месяца — апрель, май, июнь и неполный июль. Вместе прошли от Буга до Одессы, потом попали на Днестр, оттуда — в Польшу. Спали, ели, ходили на задания всегда вместе. Мы мало с ним разговаривали: он был молчалив и даже выпивши не становился болтливее. Иногда только чуть-чуть приоткроется — в душную ночь, когда не спится, или в лесу у полузатухшего костра, — заговорит вдруг об Алтае, об охоте на медведя, о чем-то очень далеком от войны, и слушать его неторопливую, основательную, чуть

стариковскую речь было бесконечно интересно. Особенно мне, насквозь городскому человеку. И сразу становилось как-то спокойно и уютно. Вообще в нем было что-то, что невероятно притягивало к нему, — то ли невозмутимое спокойствие в любой обстановке, то ли умение всегда найти себе какое-то занятие, то ли желание всегда помочь, причем желание, исходившее не от его положения, а от его характера. Стремления услужить, чтоб угодить, в нем не было, просто он не мог спокойно видеть, как кто-нибудь в его присутствии делает что-нибудь плохо и неумело. Сам же он делал все хорошо, быстро и всегда с любовью.

Один только раз он оказался не на высоте — в течение часа варил в котелке трофейный кофе в зернах, а потом пришел и руками развел: «Ничего не понимаю, товарищ капитан... Варю, варю, а оно не разваривается...» Других неудач я не помню.

И еще одна черта. Подвернется минута свободная — от поручений, заданий, штопки, варки, земляночного благоустройства, — не ляжет спать, как положено заправскому солдату, а подойдет и спросит: «Разрешите к ребятам пойти?» И идет, и копает вместе с ними, строит какой-нибудь НП или КП. Моего общества ему конечно же было мало.

В день моего ранения он оставался в расположении батальона и только на следующее утро разыскал меня в санчасти. Явился насупленный и недовольный. По всему видно было, что он осуждает меня. Несмотря на разницу между нами в пятнадцать лет (ему было восемнадцать, мне тридцать три), он считал себя в чем-то старше и опытнее и сейчас ни минуты не сомневался, что, будь мы вместе, со мной ничего не случилось бы. И под осуждающим его взглядом я почувствовал себя виноватым.

Прощаясь, я очень хотел расцеловаться с ним, но он сантиментов не любил, пожал мне левую, здоровую руку и, сказав «Поправляйтесь!», ушел.

Больше я его не видал. Дивизия двинулась дальше, на Варшаву, а я, проболтавшись дней десять в Люблине, был эвакуирован в тыл, и воевать мне больше не пришлось.

Года через два я встретил одного из наших командиров и от него узнал, что Валега после моего ранения вернулся в роту, потом некоторое время работал поваром на кухне, а через месяц или полтора на Сандомирском плацдарме был легко ранен и отправлен в медсанбат. Дальнейшая его судьба мне неизвестна. Все попытки разыскать его ни к чему не привели. Верю, надеюсь, что он жив, но так ли это и где он — не знаю. Даже фотокарточки его у меня нет...

Счастье писателя — а я не сомневаюсь, что это настоящее, большое счастье, — в том, что он может продолжить прервавшуюся по каким-либо причинам дружбу. Свою дружбу с Валегой я продолжил «В окопах Сталинграда».

На театральном языке есть термин «предлагаемые обстоятельства». Это значит, что тебе, актеру, предлагается представить себе и изобразить перед зрителем состояние и поведение своего героя в тех или иных обстоятельствах — в гостях, на толкучке, в кабинете знаменитого профессора или при встрече с грабителями.

Вся моя «вторая» дружба с Валегой в какой-то своей части была построена именно на подобных «предлагаемых обстоятельствах». Я не боюсь этого сухого слова «построена» — в этом «строительстве» Валега не утерял ни одной своей черты, не приобрел никакой новой, но присущие ему черты, попав на другую почву, как бы расцвели, окрепли. Мне же это «строительство» дало возможность возобновить свои встречи с Валегой, и были они всегда радостными, интересными и разнообразными.

О пределе власти писателя над своим героем писалось уже

много. Она не безгранична. Она до поры до времени. И пользоваться ею надо очень осторожно. Герой не из воска, чего угодно из него не вылепишь, он по-своему живой, с мускулами, кровью, сердцем. И очень раним. Он не переносит насилия. И если уж он не полюбит писателя, то читатель и подавно. Кажется, чего уж проще — взял и перебросил своего героя, как я, например, позволил себе сделать, из одного времени в другое, из Одессы в Сталинград: сиди на новом месте и делай, что тебе приказывают... Оказывается, нет. На фронте мне куда легче было приказать Валеге, чем в книге. В книге он мне мстил за всякое своеволие, и мстил правильно, умно. И спасибо ему за это.

В книге есть такой эпизод. Лейтенант Керженцев с двумя ротами оказывается окруженным на небольшой сопке. И вдруг совершенно неожиданно там появляется Валега, которого Керженцев с собой не взял. Явился с шинелью, банкой тушенки, без чьего-либо приказания, просто потому, что он считал, что так надо. Нечто подобное, правда в несколько менее сложной обстановке, произошло на самом деле, только не в Сталинграде, а полгода спустя на Днестре — наша дивизия держала там «пятачок» на правом берегу реки. Я перенес этот случай в книгу. И все было бы чин чином, по всем правилам, Валега охотно пошел на уступки, перебрался с Днестра на Волгу; но дальше позволил себе поступать так, как он считал нужным.

На окруженной сопке пришла к концу вода. А она нужна всем — бойцам, раненым, пулеметам. В блиндаже идет разговор, где и как ее достать: кругом немцы, до Волги не добраться, ручьев никаких нет. И вот тут-то «книжный» Валега делает то, чего не мог не сделать настоящий Валега, окажись он в положении «книжного», — тихонько, никому не сказав ни слова, идет на поиски воды. Это — самое главное. Он не мог поступить иначе. А дальше я ему помог — подкинул немецкий термос с вином. Мы оказались квиты.

Начинающий (да и не только начинающий) писатель часто пытается доказать правильность какой-нибудь сцены в своем произведении, ссылаясь на то, что «так было». «Ей-богу, уверяю вас, сам видел». Я читал в рукописи одну повесть, в которой бойцу во время атаки попала в живот мина. И не разорвалась. Он вырвал ее из живота и, добежав до немецких окопов, стал лупить ею немцев по головам. Автор с обезоруживающей искренностью пытался убедить меня, что он сам был свидетелем этого факта. Что можно было на это ответить? . .

Нет, в искусстве, в литературе одним «так было» не обойдешься. Оно необходимо, оно основа любого реалистического произведения. Но чтоб произведение стало, кроме того, и художественным, нужно еще и другое — «этого не было, но если б было, то было бы именно так», или еще категоричнее — «не могло быть не так». В этом и заключается различие между романом, повестью, рассказом и записками, дневниками или документальной прозой. Жанры эти вовсе не исключают друг друга, более того — внешне они могут быть очень схожи. Но внутренняя их сущность, принципы воздействия на читателя различны. Кстати, не могу здесь не сказать, что самой большой похвалой для меня было, когда мою повесть называли записками офицера. Значит, мне удалось «обмануть» читателя, приблизить вымысел к достоверности. Это не страшный «обман», за него не краснеют, без него не может существовать никакое искусство.

И вот тут-то «предлагаемые обстоятельства» играют первостепеннейшую роль. Они должны быть точны и предельно правдивы, иначе герой не сможет ими воспользоваться или начнет дубасить неразорвавшейся миной противника по голове. И эти же «предлагаемые обстоятельства», если они только взяты из жизни, помогут тебе, писателю, правильно понять, увидеть своего героя и повести его туда, куда он и сам охотно пойдет. Не надо

только заставлять его ходить на голове и говорить чужие слова: у него есть свои, не придуманные и ничуть не хуже твоих — умей их только услышать и понять.

В окопах Сталинграда нашей дружбе с Валегой никто не мешал. Пиши сколько хочешь, подкидывай своему герою любые «предлагаемые обстоятельства» — он всегда с ними справится. И расстались мы с ним вторично в 1946 году в Москве, на улице Станиславского, 24, в журнале «Знамя», вполне удовлетворенные друг другом.

Прошло десять лет. Мы опять встретились. На этот раз в Ленинграде, на студии «Ленфильм». И опять подружились. И длилась эта дружба два года, но, не в пример первым двум, оказалась куда сложнее.

До самого того момента, как я получил телеграмму из студии с предложением написать сценарий, я был убежден и убеждал других — по-моему, достаточно доказательно, — что экранизацией, да еще собственного произведения, заниматься нельзя. Помилуйте, кроме «Чапаева», ни одного случая в мировой кинематографии, чтобы фильм оказался лучше романа. И вообще роман есть роман, повесть есть повесть, а кино есть кино. Для кино надо писать оригинальные сценарии. Точка! Кроме того, у меня было еще не менее десятка убедительнейших аргументов. И все это полетело прахом, как только передо мной замаячила перспектива новой встречи со Сталинградом.

Вряд ли нужно рассказывать о том, что́ испытывает человек, когда попадает в те места, где когда-то воевал. А если к тому же не просто один — повспоминать, поклониться могилам, — а с целой группой людей, приехавших сюда специально, чтобы восстановить прошлое. Я ходил по Мамаеву кургану, узнавал или не узнавал обвалившиеся окопы, заросшие травой ямы, которые

были когда-то землянками, и не очень уверенно говорил: «А вот здесь был артиллерийский НП, а здесь батарея «сорокапяток» прямой наводки, а там вот стоял подорвавшийся танк, за который почти три месяца шла ожесточенная борьба». Я говорил и говорил, и порой мне казалось, что я уже наскучил своим спутникам, что они слушают меня только из вежливости. Но это было не так. Уже потом, во время съемок, я понял, как дороги и святы были эти места и события, на них развернувшиеся, людям, пришедшим сюда с кинокамерами и «юпитерами». Лучше всего эти чувства выразил молодой артист Леша Быков, которого нам очень хотелось переманить к себе в картину из Харьковского театра русской драмы. «Мы были тогда еще пацанами, — говорил он директору театра, — и не могли защищать Сталинград. Разрешите хоть теперь, на экране, принять участие в его защите». Леша Быков так и не попал к нам в картину, но слова его стали у нас чем-то вроде девиза.

Когда-нибудь я напишу о «Солдатах», о коллективе, который их снимал, о самих съемках, о препятствиях, стоявших на нашем пути, и о том, как мы их преодолевали, — история картины, сложная и поучительная, стоит этого. Но об этом в другой раз. Сейчас же хочется сказать только одно: та достоверность, которой удалось достигнуть постановщику фильма Александру Иванову в «Солдатах», все эти незаметные на первый взгляд детали, фронтовые черточки, окопные мелочи, солдатские повадки и словечки — одним словом, все то, что и создает в картине жизнь, — во многом зависели от настоящей, неподдельной заинтересованности в успехе нашего дела, которая чувствовалась во всем коллективе и в каждом человеке в отдельности, включая даже солдат, снимавшихся в массовках. Спасибо им всем.

Но вернемся к сценарию и Валеге. На первый взгляд Валеге в сценарии совсем не повезло. Так ли это?

Начнем со сценария.

После какого-то там варианта стало ясно, что, слепо следуя книге, ты губишь и книгу и будущий фильм. Кино не может всего переварить. У него свои законы, и законы очень суровые: сеанс полтора часа, картина 2 700 метров, сценарий не больше восьмидесяти страниц на машинке. А в повести 250 страниц — 13 печатных листов. Что же делать? Выход один. На кинематографическом языке это называется делать «по мотивам». То есть та же мысль, те же основные события, те же основные герои, но не обязательно те же «предлагаемые обстоятельства». Короче говоря, ты делаешь некую «выжимку» из произведения, берешь из него самое существенное и лепишь нечто новое, рассчитанное уже не на читателя (режиссер и актеры не в счет), а на зрителя, у которого к тебе, писателю, совсем другие требования, чем у читателя. Не могу сказать, чтобы операция превращения книги в сценарий проходила легко. Автор всегда несколько переоценивает свой талант, поэтому расставание с отдельными сценами и героями воспринимает трагически. Только потом, когда картина уже закончена, он поймет, что в трех этих сакраментальных цифрах — $1^1/_2$, 2 700 и 80 — заключена большая правда. Именно они — эти три цифры — приучают его к лаконизму, динамике, к композиционной четкости, ясности «кусков», заставляют заменять бесконечные диалоги двумя-тремя фразами, а еще лучше — взглядами (о немое кино!) и тем самым, скажем прямо, дают возможность актеру не только говорить, но и играть, а режиссеру — ставить. Кстати, должен сказать, что все эти качества — лаконизм, динамика, четкость и тому подобное — совсем не плохи и в прозе, поэтому работа писателя в кино — трудный, но очень полезный тренаж.

Но все это я понял, как и всякий начинающий автор, только после того, как увидел картину на экране. Когда же писал сценарий, мне казалось, что я преступно обкрадываю Валегу, но ничего поделать не мог — душил метраж. Более того, один

из трех настоящих «Валегиных» эпизодов (остальные все «проходные») был честно взят из книги, другой начисто выдуман и только третий, единственный на всю картину, взят от «живого» Валеги. Я чувствовал себя перед ним бесконечно виноватым. Мне было стыдно.

И тут-то появилось третье лицо, которое, правда не сразу, но постепенно, исподволь, восстановило наши былые добрые отношения. Этим лицом был Юра Соловьев, выпускник ВГИКа, которому поручена была роль Валеги.

Сейчас, когда все уже позади, могу прямо сказать — лучшего Валеги не сыскать. Но когда мы с Ивановым подбирали актеров, волнений было более чем достаточно. Перебрали около десятка человек и остановились наконец на Соловьеве. Он, правда, долго артачился: соглашался, отказывался, писал режиссеру длиннющие объяснительные письма, говорил, что роль не его плана, что он нас подведет, но в конце концов мы его все-таки скрепя сердце взяли, другого выхода не было, подпирала зимняя натура.

Как и все актеры, он конечно же считал, что роль ему бессовестно обкорнали, оставили одни рожки да ножки, и вообще в картине играть ему нечего. Я не очень убедительно пытался доказать ему, что дело не в размерах, не в количестве слов, но сам — чего греха таить! — в душе с ним соглашался.

Роль действительно маленькая. На десять частей в ней всего лишь семнадцать эпизодов. Из них в пяти Валега попросту молчит, в десяти говорит по два-три слова и только в двух, всего лишь в двух эпизодах, имеет какой-то словесный материал. И вот — всем на удивление — оказалось, что этого вполне достаточно.

Есть актеры, которые играют легко и весело. В перерывах шутят, балагурят и только перед объективом кинокамеры собираются, входят в роль. Юра Соловьев не таков. Он без конца

читал и перечитывал сценарий, книгу, ходил сумрачный, насупленный (как я потом узнал, это и было «вхождение в роль»), мучил костюмерш, подбирая гимнастерки и ботинки, обязательно большие, с загнутыми носами, как в книге, во время перерывов одолевал меня бесконечными вопросами и возникшими сомнениями. У него была специальная записная книжка, где он записывал «всё о Валеге». Я видел ее. Мне было очень интересно ее читать. Он продолжил мою игру в «предлагаемые обстоятельства» и, должен признаться, удивительно метко попал в точку.

Вообще Соловьев — сейчас мне это уже абсолютно ясно — всей своей ролью попал в самое яблочко. Он поймал суть «живого» Валеги, никогда его не видав. Он нашел и понял обаяние человека, который никогда не улыбается. А как это трудно! «Живой» Валега никогда не улыбался. Он не был сумрачен, он был серьезен, он всегда был занят, у него не было времени на улыбки. Соловьев на протяжении всего фильма ни разу не улыбается и все время занят каким-нибудь делом. Только в двух кадрах у него нет прямого занятия: в штабе, где они с Седых ждут решения своей участи, и в землянке, перед атакой, когда он слушает песенку Карнаухова. А так, если нет задания поважнее, стирает белье, что-то зашивает, мастерит. И все это молча. Но все слышит, все понимает, все знает наперед.

Он слушает в землянке песенку Карнаухова о фонарях. Через полчаса атака. Он слушает песенку, только глотнул один раз (что-то подступило к горлу, первое проявление чувства) и говорит — впервые фактически в фильме, — говорит о том, что, когда кончится война, он построит себе дом в лесу, он любит лес, и товарищ лейтенант приедет к нему туда на три недели... «Почему на три?» — «Вы больше не сможете, вы будете работать...»

Когда я смотрю этот кусок, у меня у самого подступает ком к горлу. Я вижу живого Валегу. Я до сих пор не могу понять, как

на экране могли прозвучать эти не мечты о будущем, не приглашение в гости, а почти приказание — приказание живого Валеги, которое он мне отдал как-то ночью, в лесу под Ковелем: «И вы приедете ко мне на три недели. . .»

В другом эпизоде Валега отправляется на поиски воды. Взял пустой термос, вылез из окопа, обнаружил в овраге группу немцев, распивающих вино, неслышно заменил их термос с вином своим пустым (а как аккуратно, по-валеговски это сделано!), вернулся назад и как ни в чем не бывало принялся за прерванное занятие — штопку брюк. «Ты где болтался?» — спрашивает Керженцев. «Как где? Вы ж сами сказали, что воды нет. . .» И потом, попробовав вина из кружки: «Дрянь! Как раз для пулеметов. . .» Две фразы на весь кусок. И в них весь Валега. Как и во всем куске. И это настолько убедительно, настолько точно, что минутами, глядя на экран, я думал: а может, и на самом деле это было?

И наконец, последний эпизод — в госпитале. Валега привез раненому Керженцеву письма и подарки с передовой — две бутылки коньяку. И опять я вижу живого Валегу, его насупленный, неодобрительный взгляд, когда Керженцев размахивает бутылкой и кричит на всю палату «Живем, хлопцы!», слышу его голос, его интонации в рассказе о немцах, сидящих в колечке: «Им с самолетов продукты сбрасывают, а мы. . . подбираем». Живой, живой. . . И в то же время свой собственный, «соловьевский».

На всю роль, по сути, три эпизода — каких-нибудь восемь — десять минут, — а перед тобой живой человек. Не иллюстрация к книге, а достоверный, осязаемый, хотя и на экране, и главное — думающий.

А как это важно в кино, да и вообще в искусстве — не только говорить, но и думать. И жить своей жизнью. Зрителю в конце концов совершенно безразлично, похож ли экранный Валега

на живого или нет, он увидел этого, экранного, и, поверив, полюбил — невзрачного, трогательного, порою забавного и никогда ничего не боящегося. . .

Много времени спустя Соловьев мне рассказывал, что его как-то пригласили на студию, чтобы сняться в роли Валеги для какого-то иллюстрированного журнала. «И вы знаете, — говорил он, — я даже заволновался. Разыскал ту самую гимнастерку, пилотку, телогрейку, штаны с собственной штопкой и, поверьте, надевал — и мне все казалось, будто я на самом деле в них воевал. . .»

Да, Юра и Валега по-настоящему сдружились. И их дружба еще больше укрепила мою.

Что же это за дружба такая, о которой я все время говорю? Не придумал ли я ее? А может, это вовсе и не дружба и слово это я использовал только для того, чтобы оправдать свое вольное обращение с человеком, которого считал и до сих пор считаю своим другом? И возможно, прочитав книгу, посмотрев картину, а затем прочитав эти строки, он просто обидится на меня и скажет: «Вот они, писатели, что хочешь из тебя сделают, а ты терпи, молчи. . . И еще дружбой называют. . .»

Нет, не скажет он так.

Я пытаюсь сейчас восстановить в памяти эволюцию Валеги от живого, через книжного к кинематографическому и с тревогой обнаруживаю, что действительность и вымысел — иными словами, то, что было в самом деле, и то, что написано в книге и показано в кино, — как-то напластовавшись одно на другое, совместились и что мне необходимо определенное напряжение, чтобы установить четкую грань между ними. Получается нечто вроде того случая, когда человек много раз подряд рассказывает одну и ту же историю. Рассказ постепенно расцвечивается деталями, иногда для красного словца даже придуманными,

в результате же, особенно если рассказу слушатели поверили, рассказчик сам начинает в них верить. Одним словом, нечто «хлестаковское».

Хорошо это или плохо?

Для свидетеля на суде, конечно, плохо. Для произведения искусства не плохо и не хорошо, это — естественно. Это не должно вызывать тревогу. В этом и заключается художественная правда. Та самая, которая, отталкиваясь от действительности, возвращается к ней же.

И вот тут-то я не могу не привести отрывок из письма Соловьева ко мне, отрывок, который, на мой взгляд, дает очень убедительный и точный ответ на все возникшие у меня вопросы.

В начале письма Соловьев пишет, как он мучился на первых порах, пытаясь «втиснуть себя» в написанного в книге и сценарии Валегу. Ничего не получалось.

«И вот тогда, — пишет Соловьев, — я стал искать другие ходы и приспособления к роли и в конце концов решил не «подражать» книжному Валеге, как пытался было делать вначале, а попробовать строить на основе вашего материала то, что у меня может получиться. Я стал чувствовать себя свободнее.

Теперь мне пригодилась и тяжеловатая, вразвалку, походка моего бати (у вас же — «мягкая, беззвучная походка охотника»), и чувствительные к вещам руки, оценивающий глаз, неторопливые, точные движения, стариковская хозяйственность и аккуратность во всем — моего деда (на это натолкнуло сходство Валеги со старичком — у вас же). Манерой разговора кино-Валега напоминает моего бывшего сокурсника Рыбакова, позднее ушедшего из института «изучать жизнь». А вечно обиженное, насупленное выражение лица почему-то взято и вовсе с незнакомого человека — шофера пострадавшей «Победы» в момент его объяснения с милицией.

Кое-что перепало Валеге и от меня лично. Мне, например, казалось, что ему должно быть свойственно чувство ревности, а этого, как вы знаете, у меня — хоть отбавляй! Пришлось вспомнить и то, как я еще во время войны, пацаном, нянчился со своими младшими сестрами (вы где-то упоминаете, что Валега следил за Керженцевым, как «хорошая нянька»). Много пришлось фантазировать, а ко многому просто привыкать — ведь фронта я даже не нюхал! Выручило и мое давнишнее увлечение рисованием — это помогло найти индивидуальность в костюме».

Так вот, оказывается, что получилось с Валегой. Он разросся, расширился, окреп. Работая «над ним» в книге, в сценарии, я шел от живого человека. Соловьев, работая над ролью, отталкивался от книжного образа и лепил свой собственный, живой, беря детали из жизни — от деда, отца, друга, шофера, самого себя. Кстати, мне очень нравится слово «отталкивался». В данном случае оно очень точно. Именно отталкиваться от образа, идти от него вовне, в мир, а не насильственно втискиваться в него, замыкаться. Вот это-то «отталкивание» и рождает художественную правду. Круг замкнулся — действительность вернулась к действительности.

Кого же из этих трех Валег я больше люблю? Живого ли, но чуть-чуть уже потерявшего четкость очертаний (а как хотелось бы их восстановить, встретившись с ним сейчас), или книжного, с которым нас сблизила совместная выдумка, или самого молодого, «соловьевского», где многое зависело уже не от меня? Кого же?

На этот вопрос нелегко ответить. Думаю, гадаю, а ответ все один — Валегу. . .

1959

P. S.

Прошло двадцать два года с тех пор, как мы расстались с Валегой в медсанбате на окраине Люблина. За это время успело уже новое поколение вырасти, о войне знающее только по рассказам, книгам и фильмам, далеко не всегда достоверным. А старые фронтовые друзья? «Иных уж нет, а те далече». Те, с кем все же свела послевоенная судьба, как и я, постарели, поседели, а кто и полысел или валидольчик посасывает. А Валега? . .

Валега смотрит на меня «соловьевскими» глазами с финальной групповой фотографии из фильма «Солдаты» — серьезный, собранный, аккуратный — рядом с Фарбером, Чумаком, Седых, санинструкторшей Люсей, и слышу я голос Керженцева — последние слова фильма: «Где вы сейчас? Живы ли вы, друзья? Я вглядываюсь в ваши лица и стараюсь представить, как выглядите вы сейчас. Подумать только — Валега, Седых, — ведь вам уже за тридцать, женились, детишки растут. И ходят они уже, вероятно, в школу и пишут каракулями на косых линейках — МИРУ — МИР! Счастливые, они не видели, не знают войны. Пусть же они ее никогда не узнают. . .»

И вот настал декабрь 1966 года. Я в Москве. Делаю сценарий для документального фильма о далекой Аргентине, в которой никогда не был.

Как-то возвращаюсь со студии, и мне сообщают: «Тебе звонили из Киева. Говорят, разыскивает тебя какой-то твой связной. Через милицию. . .»

Вот это да. . . У меня было два связных — Титков в Сталинграде, потом Валега. Кто же из них? Звоню в Киев. . . Да, звонили из 1-го отделения милиции. Какой-то Волегов Михаил разы-

скивает. Хочет узнать адрес. Но милиция без моего разрешения не дает. Как быть?

Прошу через милицию узнать его адрес и дать мой. Через час я уже записываю адрес: станция Бурла, Алтайского края, ул. Пушкина, № 59-а, Волегову Михаилу Ивановичу...

Бегу на телеграф... Посылаю телеграмму, затем письмо. Вскоре — о чудо, почта почувствовала, постаралась, поторопилась — получаю ответ. Не могу не привести его полностью:

«Дорогому и любящему другу Некрасову Виктору Платоновичу, бывшему капитану по строевой части 88-го отдельного саперного батальона 79-й гвардейской стрелковой дивизии с самым наилучшим чистосердечным приветом к Вам Волегов Михаил Иванович, ваш бывший связной 1944 года. Виктор Платонович, прошло столько времени после того, как мы с вами расстались в 1944 г. под Люблином. Я сейчас не найду слов с чего начать. Во-первых, я вас, Виктор Платонович, благодарю, что вы так скоро отозвались. Это все произошло так просто, что мне даже самому не верится. Когда я вас проводил в медсанбат, то после вас я тоже недолго воевал. Взяли Люблин, форсировали Вислу, и был я под Варшавой ранен. Был артналет, и меня ранило в левую ногу, в колено. Это было 9 августа 1944 г. Был я в трех госпиталях, домой пришел 4 января 1945 г. Жил в Барнауле до 1950 г., а потом выехал в Бурлу, где и в настоящее время живу. Работаю в Коммунальном отделе столяром. Семья у меня богатая. Жена Елена, старший сын Анатолий женат, работает шофером в совхозе, жена его Раиса — учительница и учится в педучилище. У них два сына — Саша, ходит в 1-й класс и Валера, ему всего один год. Дочка наша Галочка с 1947 г. и зять Виктор с 1944 г. — агроном, сейчас в армии. У них дочка Танюша — 1 год и 2 мес. Живут они у его родителей в Карасях — 100 км от нас по жел. дороге. С нами дочка Нина 1950 г., ученица 10 класса, и сын Борис 1952 г., ученик 8 класса. Вот это

моя семья. Три внука, три раза дед, но бороды еще нет. Вот, Виктор Платонович, они, дети, и заставили вас разыскать. Все говорят — папа, расскажи да расскажи, а я и говорю: «Был у нас командир, жив или нет сейчас, говорю, не знаю, только знаю, что вы с Киева». У нас был разговор за вас, за фронт, и я знал только, что вы с Киева, а отчество забыл. Это вас дочка Нина нашла, и так быстро все получилось, что я и сам не пойму. Она хотела в архив, в Москву, а послала в Киев. Теперь узнали все подробно. Коротенько о себе. Живем мы на станции Бурла, теперь он уже район Бурлинский, граничит с Казахстаном и Новосибирской областью. Живу в своем дому и живем, как сказать, на половину — вперед не бежим и сзади не отстаем. Вы, Виктор Платонович, тоже сообщите, как вы живете, и вышлите свое фото. Я вас представляю, но ведь это было давно и не мирное время. Каково у вас здоровье и как рука у вас сейчас? В какую вы были ранены? И как зовут вашу мамашу, сколько им лет, живете в казенном или в своем доме? Высылаю свое фото — снималися в 65 году. Было мне 41 год. Теперь уже 42, пошел 43-й. Но еще бегаю хорошо. Ну вот пока и все, заканчиваю писать. Извините, что я вас побеспокоил, но что меня заинтересовало, то эта ваша давняя простота. 22 года прошло, 22 раза обнимаю, 22 раза целую. Я жму вашу правую руку. Ваш бывший связной Волегов Михаил Иванович. До свидания. 5 декабря 1966 года».

К письму приложена была фотография... Да, не восемнадцать лет, пошел уже сорок третий... Но чубчик, зачесанный назад, тот же, и глаза те же, охотничьи. Брови сдвинуты, две морщинки от них вверх, по лбу, так и кажется, скажет сейчас: «Ну вот, товарищ капитан, опять не кушали. Донесение напишете потом, подождет ваш дивинженер, не умрет...»

Я тоже послал фотографию. На грех, нашлась только одна, снятая на... Бродвее, — остальные были все в галстуке, для удо-

стоверений. Сразу же ответил: «Очень и очень благодарим за фото. Жена спрашивает, похож ли? Я только глянул и сказал — да. Усики те же самые. Но время прошло очень много, конечно, немного и постарели. Но все же я вас представлял. . .»

Не без трепета я послал ему и книгу. А вдруг обидится? Ведь в Сталинграде он был вовсе не связным, а рядовым бойцом в саперном батальоне. А я данной писателю властью, да еще не сменив фамилии, превратил его в сталинградского ординарца. А вдруг друзья на смех подымут: «Говоришь, воевал, мины ставил, а командир вот твой пишет, что вовсе в услужении был. . .» Нехорошо как-то. . .

Но нет, не обиделся.

«— Мы всей душой вас благодарим за вашу скромную посылочку с книгой о том, как мы с вами вместе были на фронте. Можно почитать и кое о чем вспомнить, особенно о Митясове и Люсе. А мой сынишка, Боря, отбивает книгу у всех и сидит читает, а за вопросами ходит ко мне и спрашивает: «Папа, а вот кукурузник какой самолет? . .» А я ему говорю — не спал всю ночь, как и мы, бомбил, а мы минировали, ходили за языком». И дальше — «Вот вы, Виктор Платонович, пишете за мои пельмени и картошку в мундирах, так все смеются надо мной, а ведь это была сущая правда. Все было так, только нужно подумать и представить».

И кончает письмо: «Я бы хотел, чтобы вы приехали к нам на Алтай. Отведать нашего хлеба и соли. Хотя бы на минутку. Хоть на картошку, хоть на пельмени, хоть на окрошку, а все равно мы соберемся вместе. Посидим, поговорим, по маленькой выпьем. . .»

А в одном из последующих писем (посмотрев уже «Солдаты») приглашает вместе со мной и Юру Соловьева. Увы, пока это еще не осуществилось. Дела, болезни, расстояния. . .

Но встреча будет, я верю, я знаю. И обязательно вместе с Юрой.

«Книжный» и «киношный» Валега говорит Керженцеву:

«— Когда кончится война, я поеду домой и построю себе дом в лесу. Бревенчатый. Я люблю лес. И вы приедете ко мне и проживете три недели. Мы будем ходить с вами на охоту и рыбу ловить.

Керженцев улыбается:

— Почему именно на три недели?

— А сколько же? Вы больше не сможете. Вы будете работать. А на три недели приедете... У нас хорошие места на Алтае. Не такие, как здесь. Сами увидите. И пельменями вас угощу. Я умею делать пельмени. По-особому, по-нашему...»

То же самое мне говорил «живой» Валега. И я жду теперь этих пельменей. Дом у Валеги, правда, не в лесу, а в голой степи, и вряд ли мы будем ходить на охоту, да и охотник я, откровенно говоря, неважный и рыболов тоже, но не за этим же я поеду...

...Керженцев лежит во дворе сталинградского домика под пыльными акациями и долго не может заснуть. Войны в Сталинграде еще нет. Рядом с ним в двух шагах лежит Валега, свернувшись комочком, прикрыв лицо рукой.

И Керженцев думает:

«Маленький, круглоголовый мой Валега! Сколько исходили мы с тобой, сколько каши съели из одного котелка, сколько ночей провели, завернувшись в одну плащ-палатку... Привык я к тебе, лопоухому, чертовски привык... Нет, не привык. Это не привычка, это что-то другое, гораздо большее. Я никогда не думал об этом. Просто не было времени. А ведь на войне узнаешь людей по-настоящему... (Дальше всякие мысли о войне, о людях на войне.) Ну, спи, спи, лопоухий. Скоро опять окопы, опять бессонные ночи. Валега — туда! Валега — сюда! Дрыхни

пока. А кончится война, останемся живы, придумаем что-нибудь...»

Вот и кончилась она, и, о чудо, мы остались живы. И придумываем что-то. А пока скажу, как Валега: 25 лет уже прошло, 25 раз обнимаю, 25 раз целую тебя. До скорой встречи, четвертой, самой счастливой...

1967

В ВЫСШЕЙ СТЕПЕНИ СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

Я мобилизую в себе сейчас все силы, чтоб рассказать эту историю так, как она была. Без рассуждений, отвлечений и выводов. Документально. Выводы должны сделать вы сами. И объяснение найти тоже вы сами. Я его пока не нашел. Именно поэтому я и пишу. Я и сейчас не уверен, что поступаю правильно, — бог знает что обо мне начнут говорить — и все же пишу. Надо же в конце концов разобраться.

Итак, без рассуждений и отвлечений. Допущу только одно. Толстой как-то сказал, что он не властен над своими героями. Что они часто поступают по своему разумению и ведут его за собой. Мне это очень понятно и близко. Ну, а если герои... Впрочем, стоп, — я уже начал рассуждать.

Перейдем же к фактам.

Все вы помните, конечно, легенду, а может быть, это и быль, о некоем мальчике, который десять или пятнадцать раз подряд ходил смотреть «Чапаева», в тайной надежде, что он, Чапаев, все же вынырнет и доберется до противоположного берега. Легенда эта приводится обычно не только как доказательство невероятной «жизненности» Бабочкина в роли Чапаева, но и как пример силы воздействия искусства на человека, определенной взаимосвязи между ними. Мальчик покорен был Чапаевым и не мог, не хотел поверить в гибель любимого героя.

Трогательная и поучительная эта история (было же у нас время, когда наши герои не имели права на смерть) для меня сейчас приобрела совсем особый смысл. Мальчик, — я в этом совершенно уверен, — далеко не так уж был смешон. Почему — я попытаюсь сейчас объяснить. Нет, не объяснить, а, пожалуй, скорее запутать.

Но, так или иначе, это необходимо.

Итак — факты.

В конце марта или начале апреля 1965 года мы с режиссером Центральной студии документальных фильмов Ильей Гутманом монтировали картину, вышедшую впоследствии на экраны под названием «38 минут в Италии». Материал картины в основном отснят был Гутманом в Италии, и мы, добавив коечто из итальянской хроники, пытались слепить все в единое целое. Работа была нелегкая, во всяком случае для меня, человека неопытного, но самый процесс ее доставлял мне неизъяснимое удовольствие. В течение двух или трех недель я ежедневно по несколько часов вновь общался с Италией, а это не так уж неприятно.

К концу монтажа я уже знал все кадры наизусть. Более того, так как картину и отдельные ее кадры я видал ежедневно десятки раз, я стал замечать то, что при первых просмотрах проскакивало как-то мимо. Я мог позволить себе наблюдать второй, третий, четвертый планы, отвлекаться от главного.

На экране толпилось великое множество людей — прохожих, бездельников, зевак, дельцов, лавочников, монахов, карабинеров, газетчиков, продавщиц цветов, застывших как изваяния, пожилых рыболовов, мальчишек, гоняющих мяч или азартно играющих в какую-то непонятную мне игру с монеткой, — и еще тысяча различных людей.

Видел я их каждый день, одних и тех же, в одних и тех же местах, но, как ни странно, вместо того чтоб раздражаться, я

начал какие-то из сцен выделять, а некоторые по-своему даже полюбил. Как любят малыши, когда им в тысячный раз рассказывают одну и ту же сказку.

Полюбил, например, бездельника парнишку, жующего какую-то идиотскую резинку. Уселся на землю у автобусной остановки, портфель с книгами рядом, тоже на земле, а он сидит себе и жует, никуда не торопится. Только раз взглянул на нас и отвернулся. Жует... Полюбил я и дерущихся мальчишек, которых разнимает какой-то дядька. И очень красивую, очень строгую девушку в пелеринке и с крестиком на шее. Она сидела очень пряменько и читала книжку. Взглянула на нас и опустила глаза. Читает. Под стрекот аппарата. Кто она? Что она читает? И что думает о нас, за кого нас, то есть Гутмана, который ее снимал, принимает? А художники на виа Маргутта? (Каждое лето там устраиваются выставки на открытом воздухе — выставляй кто хочет, покупай, продавай...) О чем они спорят возле картины, эти трое парней в светлых рубашечках и коротко остриженная женщина с бусами на шее, очевидно автор картины? Когда мы озвучивали фильм, приглашенные нами итальянские студенты очень живо сымпровизировали какой-то спор, но как хотелось знать, о чем на самом деле они спорили. У женщины был несколько растерянный, какой-то оправдывающийся вид, — очевидно, на нее наседали. В чем она оправдывается? Как узнать? Как узнать, о чем задумался этот парнишка в курточке на молнии и с меховым воротником, прислонившийся к стенке у входа в тратторию? На эту тему я попытался даже порассуждать в самом фильме, как сценарист и диктор (я сам веду рассказ), — мол, не о будущем ли своем он задумался? А в жизни, может быть, он просто соображает, куда пойти, или поджидает девушку, или просто стоит так, разглядывая прохожих, и ни о чем не думает. Вид у него мрачный, недовольный. Почему? Не знаю. И никогда не узнаю. А я уже при-

вык к нему, к этому парню, он стал моим знакомым, почти другом.

Была в фильме еще одна сценка. Где-то в начале второй части. Почему-то она всем доставляла особое удовольствие, хотя ничего особенного в ней не было. Просто улица, тротуар с прохожими. И вот в кадр попадает женщина. Очень изящная, стройная, в элегантном сером платье. Решительным, легким шагом она идет от нас в глубь экрана, энергично размахивая сумочкой. В правой руке у нее ключи на длинной цепочке, очевидно от автомашины. Она ими вертит не менее энергично, чем размахивает сумочкой. Мы видим только ее спину. Она ни разу не обернулась. Мы не знаем ее лица. Очевидно, красивое. Сужу по тому, что идущий ей навстречу парень в белом свитерочке, миновав ее, обернулся. Обернулся, посмотрел вслед и пошел дальше, на нас. И скрылся. На этом сцена обрывается. Появляется какой-то монах с книгой в руках, шагающий взад и вперед, кого-то или чего-то ожидающий.

Коротенькая эта сценка с женщиной и парнем почему-то всем очень нравилась. В зале обязательно кто-нибудь прищелкивал языком и говорил: «А, видать, недурна» — или что-нибудь в этом роде, и в зале все смеялись. Я тоже обычно смеялся, а потом парень этот стал меня раздражать. Ну чего ты оборачиваешься? Задела, значит? Ну вот и пошел бы за ней. Куда ты так торопишься? В двадцать лет можно и опоздать, какое бы дело тебя ни ждало. Дурак! А он все оборачивался и оборачивался, каждый день оборачивался и шел на нас, а женщина в сером, размахивая сумочкой и ключами, быстро удалялась на своих шпильках. . .

К середине апреля картина была закончена. Все было смонтировано, озвучено, налажено, подлажено, остались только какие-то мелкие доделки и подчистки. Мне фактически делать было уже нечего, и я взял билет на самолет домой, в Киев.

Перед отъездом попросил у режиссера разрешения показать картину друзьям. Он тут же, конечно, согласился, записал просмотровый зал на 4.30, но сам, к сожалению, присутствовать не мог. На этом мы и попрощались — автобус на аэродром уходил в шесть, и он боялся, что к этому времени не успеет освободиться.

Как обычно, день отъезда бывает самым суетливым, наполненным какими-то неотложными делами, а я к тому же еще встретил нос к носу на улице Горького друга детства, и пришлось забежать в кафе «Марс», и после первой рюмки коньяка выпить еще вторую и третью — одним словом, к началу просмотра я опоздал. Вошел в зал к концу первой части. Друзья были все на месте, на экране мелькали достопримечательности Рима — Колизей, Капитолий, термы Каракалла. Я успокоился и сел в уголке.

Все шло честь честью. На смену колизеям пришло Трастевере — тесные улочки, дворы, истинный Рим, затем парадный виа дель Корсо. Недовольно взглянул на нас очкастый рыболов на мосту. Проплыли абстракции на стенах виа Маргутта. Ребята в светлых рубашечках наседали на растерянную художницу. Она, как всегда, оправдывалась. В положенное время, на положенном месте появилась на своих шпильках женщина в сером. Решительно, легкой, такой уж мне знакомой походкой шла от нас, размахивая сумкой, вертя ключами. В положенное время появился и парень в белом свитерочке. Вот сейчас он, дурак, обернется и пойдет на нас. И все. И появится монах с книгой. И он действительно обернулся, все как положено, обернулся и...

Господи, что ж это такое? Неужели на меня так подействовали три стопки коньяка?

Сценка эта всегда была очень короткой. Мы не успевали даже запомнить лица парня, он появлялся и почти сразу исчезал.

Сейчас она показалась бесконечной. А может, она была такой же короткой. Нет, не может быть. Не может, потому что парень обернулся, на какую-то долю секунды задержался, точно колеблясь, и вдруг пошел за ней, за женщиной в сером. Вот так, обернулся и пошел. Поколебавшись, но пошел. Даже шаг ускорил. . .

Я закрыл глаза. . . Открыл.

Они уже шли рядом и разговаривали. Мне даже показалось, что они смеются.

На этом кадр кончился. Появился монах.

Остаток фильма я не смотрел. Вышел в коридор. Закурил.

Что же это такое? Галлюцинация? Результат напряженной трехнедельной работы? Переутомление? Или действительно эти несчастные три рюмки коньяка?

Когда в зале зажегся свет и все стали говорить какие-то слова, я их не слышал, они как-то проходили сквозь меня, мимо, не задевая. . . Мне хотелось одного, мучительно хотелось спросить о женщине в сером, о парне. Но из присутствовавших никто фильма раньше не видел, Гутмана не было, монтажниц тоже, я был один. Заглянул к механикам, они ушли в буфет.

Только на улице я отважился спросить. Увы. . . Половина друзей эту сценку не запомнила, вторая же если и запомнила, то только походку, фигуру и почему-то ключи. И тут все заговорили о достоинствах и красоте итальянских женщин. . .

Через час я летел уже домой.

Вот и все. Одни факты. Нечего ни добавить, ни убавить. Никому о случившемся я не говорил. На фильм не хожу. Даже в телевизор не смотрю. Боюсь. Сейчас, после долгих колебаний, обращаюсь ко всем, кто видел или, может быть, еще увидит «38 минут в Италии», — сообщите мне, пожалуйста, пошел ли

парень в свитерочке за женщиной в сером или нет? Мне это очень важно.

Заранее приношу свою благодарность.

P. S.

Что же это происходит? Чем дальше, тем хуже.

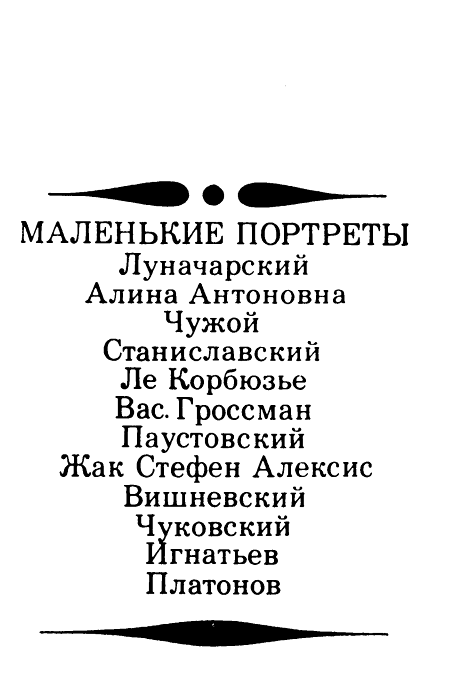
На фильм я не ходил. По изложенным выше причинам. Боялся. А вчера вот пошел на вторую серию «Анны Карениной», на продленный сеанс и вдруг — бац! — «38 минут в Италии». В сердце что-то екнуло. Но я взял себя в руки. Успокоился... Интересна была реакция публики.

Принимали в общем хорошо, смеялись, где надо, затихали тоже, где надо. Но по мере приближения к сцене с женщиной я стал слегка нервничать. Не то что нервничать, но какое-то смутное беспокойство ощущал. Пока все шло нормально. Колизей, Капитолий, рыболов в очках, спорящие художники. Наступил черед женщины в сером. И тут...

Я не досмотрел фильма. Протиснулся мимо шипящих соседей и вышел на улицу.

Ни женщины, ни парня не было совсем. Ни ее, ни его. Все, кому положено — я не помню кому и что, — прошли, и туда, и сюда, и на нас, и от нас, а их не было. Ни его, ни ее...

Я совершенно растерян. Я не знаю, что еще может вытворить эта пара. Куда она делась? Вдруг окажется на мосту, рядом с рыболовом? Или возле влюбленной парочки на скамейке в парке Вилла Боргезе? И тоже целуются? А что, если их примеру последуют и другие? Убежит играть в футбол парнишка на автобусной остановке. Парень в курточке на молнии зайдет в тратторию и напьется. Художники подерутся. Я холодею от одной этой мысли...



МАЛЕНЬКИЕ ПОРТРЕТЫ

Луначарский
Алина Антоновна
Чужой
Станиславский
Ле Корбюзье
Вас. Гроссман
Паустовский
Жак Стефен Алексис
Вишневский
Чуковский
Игнатьев
Платонов

ЛУНАЧАРСКИЙ

На фотографии, датированной 1914 годом, группа детей и взрослых. Это русская школа в Париже. Среди детей узнаю только своего старшего брата Колю, в белой рубашечке с галстуком и широким поясом — он-то и учился в этой школе, — своего «друга» Тотошку и самого себя. Мне три года. Рядом со мной моя нянька — бретонка Сесиль. Среди взрослых — моя бабушка и мать в какой-то странной, закрывающей уши, прическе тех лет. Мужчины все с бородками и в пенсне. Среди них, тоже с бородкой и в пенсне, в соломенной шляпе, именовавшейся тогда «канотье», Анатолий Васильевич Луначарский. Его сын — это и есть мой друг Тотошка — тоже здесь — кругломордый пузырь-блондин на коленях у своей няньки.

Жили мы тогда в Париже с Луначарскими в одном доме. Мать работала в больнице, превратившейся с началом войны в госпиталь, Анатолий Васильевич кроме революционной деятельности занимался журналистикой.

Рядом с нашим домом был парк Монсури — он и сейчас есть, но тогда это была самая окраина Парижа, сразу за парком тянулись так называемые фортификации, какие-то допотопные земляные валы, где ежедневно занимались шагистикой наши любимцы-солдаты. Впрочем, мы тоже были их любимцами, и они

ничуть не огорчались, когда мы набрасывались на них во время их «перекуров».

Мы — это Тотошка Луначарский, Бобос Кристи и я. «Нянькой» нашей был Анатолий Васильевич. Пока мы возились и дрались, — а дрались, говорят, мы с Тотошкой отчаянно, вцепляясь друг другу в волосы, — а Бобос нас разнимал, Анатолий Васильевич спокойно сидел себе на скамеечке и писал или правил свои статьи.

Из фотографий тех лет сохранилось еще несколько и среди них одна — наша тройка и моя двоюродная сестра Лена. Я долго тихо ненавидел эту фотографию — мальчики как мальчики, в каких-то штанишках и фуфаечках, девочка как девочка, а я ни то ни се — бархатное платьице (!) с кружевным воротничком и длинные золотые локоны до плеч. Тьфу! Противно было смотреть...

Как писал Анатолий Васильевич на скамеечке свои статьи — я не очень-то помню, нам интереснее было драться или кормить в пруду лебедей и уток, называвшихся у нас тогда «лэ га-га». Зато ярко до сих пор помню Луначарского в виде некоей помеси деда-мороза и черта на одной из детских елок. Он напялил на себя мамину меховую, козлиного меха, шубу, приделал какие-то рога и даже, по-моему, хвост и очень пугал и веселил нас.

Потом началась война. Солдаты с фортификаций исчезли, а в небе появились немецкие цеппелины. Как-то ночью мне его даже показали — я все клянчил, чтоб мне показали, — но, кроме лучей прожекторов, я ничего не увидел. Но и этого было вполне достаточно.

Где-то в начале 1915 года мы через Англию и Швецию вернулись домой и осели в Киеве. Луначарские и Кристи покинули Францию позже и ехали тоже морем, только южным путем, через Грецию, и обосновались в Москве.

Встретился я потом с Анатолием Васильевичем один только раз, через пятнадцать лет после парка в Монсури, в 1929 году. До этого заходил к нему, вернее к Тотошке, когда обоим нам было лет по четырнадцать-пятнадцать. Жили они тогда в Кремле, куда я попал в первый раз и где, снисходительно руководимый местным аборигеном Тотошкой, впервые увидел царь-колокол и царь-пушку. Папы в тот день дома не было. Мы с Тотошкой побежали в Третьяковку — я туда попал тоже в первый раз — и там, помню, долго, до слез хохотали над коненковскими старичками-лесовичками. Других воспоминаний о моем знакомстве с Третьяковкой у меня не сохранилось.

В 1929 году я поехал к Луначарскому по настоянию своих родителей. Дело в том, что в этом году я не попал в Художественный институт. Доброжелатели мои объясняли мой провал неподходящим, мол, социальным происхождением, я же твердо знал, что произошло это совсем по другой причине. Просто на экзамене надо было сделать портрет маслом, а я умел только рисовать, и один-единственный и первый в жизни урок живописи (за день до экзамена) вряд ли мог спасти положение. Нечто мерзко-зеленое, беспомощно размазанное по холсту должно было повергнуть в ужас приемную комиссию (что, по-видимому, и произошло), а передо мной навеки захлопнуть двери Художественного института.

И вот тут-то, очевидно, те же доброжелатели посоветовали моим родителям обратиться за помощью к бывшему нашему соседу по рю Ролли, 11. Записка, в которой отмечались мои «недюжинные архитектурные способности», адресованная ректору института, сохранилась у меня до сих пор и сыграла, думаю, свою роль на следующий год, когда я держал экзамен уже не в Художественный, а в Строительный институт.

Записка эта и послужила поводом для моего визита к Анатолию Васильевичу. Надо было, воспользовавшись поездкой

в Москву (я работал тогда на постройке Киевского вокзала и имел бесплатный железнодорожный билет), зайти и поблагодарить свою бывшую «няньку» за помощь. Кстати, до этого Луначарский дважды (в 1924 и в 1928 годах) давал моей бабушке рекомендации для поездки в Швейцарию к младшей своей дочери Вере, вышедшей там замуж и в России больше уже никогда не бывавшей. Помню, что в рекомендациях этих меня больше всего поразило, что в характеристике, данной Анатолием Васильевичем бабушке, сказано было, что она «лояльна» по отношению к советской власти». Лояльно? Ведь это значит только «терпимо», не больше... Заглянув в Даля и с радостью обнаружив, что в понятие это входит и «доброжелательность», я успокоился.

Итак, 25 декабря 1929 года я с трепетом душевным сел в лифт большого шести- или семиэтажного дома в Денежном переулке, поднялся на самый верх и нажал кнопку в дверях с табличкой: «Председатель комитета по заведованию учеными и учебными учреждениями Анатолий Васильевич Луначарский».

Отворила мне дверь горничная. Я отрекомендовался, и буквально через минуту в прихожей появился хозяин с салфеткой на шее.

— А, Викто́р! — с ударением на «о», по-французски, приветливо и весело сказал он. — Очень рад! И очень кстати! Мы как раз обедаем...

Я приглашен был к столу, с белоснежной скатертью и множеством тарелок и тарелочек, познакомлен с женой, хорошо известной мне по кинофильмам «Мисс Менд» и «Медвежья свадьба», Наталией Александровной Розенель, и накормлен вкуснейшим, обильнейшим обедом. Потом, дома, меня, конечно, спрашивали, чем же кормили, но я ничего не запомнил, кроме обилия фарфора, разных ножичков и вилочек и того, что боялся

больше всего, как бы не нарушить этикет и взять не то и не так, как надо.

Разговор за столом был оживленный, но касался в основном бабушки, мамы и моего изменения в росте и цвете.

— Подумай, — смеясь, говорил жене Анатолий Васильевич, — ведь у этого молодого человека, когда я его пас в Монсури, были совершенно золотые локоны, как у маленького лорда Фаунтлероя.

Меня, хотя мне было уже восемнадцать лет, это сравнение явно покоробило — меньше всего я хотел когда-либо и чем-либо походить на лорда, поэтому даже, не без умысла, пришел к бывшему наркому в какой-то застиранной бумазейной рубашке с поясом поверх, чем поверг в ужас моих родителей — «неужели не мог поприличнее одеться? Взял бы у кого-нибудь белую рубашечку, пиджачок. На эту же смотреть стыдно. . .»

Потом говорили о моих планах на будущее — я твердо решил стать архитектором, — о том, что это очень интересная специальность и что вообще-то студентам этого профиля — слова Наталии Александровны — следовало бы знакомиться с Парфеноном и Римским форумом в натуре, а не только по альбомам.

— Доживем когда-нибудь и до этого, — то ли мягко, то ли горько улыбнулся одними глазами сквозь пенсне Луначарский, — а пока что надо в институт еще поступать. Не так ли, Виктор?

Я хорошо запомнил это «не так ли?» — скорее французский, чем русский оборот речи — очень характерное для французов, — «n'est ce pas?».

Я самоуверенно заявил, что поступлю обязательно, и конечно же ни словом не обмолвился о записке, той самой, из-за которой, собственно, и пришел сюда.

Обед кончился. Анатолий Васильевич повел меня в свой кабинет — очень небольшой, весь от пола до потолка в книгах.

Малые размеры этого кабинета поразили меня так же, как и грандиозные размеры гостиной, с большим, чуть ли не во всю стену, полукруглым окном и — что особенно мне понравилось — с внутренней лестницей, ведущей на какие-то хоры, тоже, как и кабинет, уставленные книгами. Нечто подобное я видел потом в Коктебеле, в доме Волошина. Если я когда-нибудь построю себе дачу или виллу, я обязательно тоже сделаю такую лестницу и хоры.

В кабинете мне были показаны кое-какие книги по искусству, от которых я обалдел, а потом Анатолий Васильевич подошел к полке, порылся в ней, вынул маленькую беленькую книжечку и вручил ее мне с дарственной надписью. Она у меня тоже сохранилась. Называется «Об антисемитизме».

Почему мне была подарена именно эта книжка, а не какая-нибудь другая, понять не могу до сих пор, но почти сорок лет спустя я невольно вспомнил несколько строк из нее.

Это было 29 сентября 1966 года, в день 25-летия первого расстрела в Бабьем Яру. Яра, как такового, уже не было и в помине, он был замыт и превратился просто в поросший бурьяном пустырь. И на этом пустыре в этот день собрались тысячи людей, чтоб почтить память расстрелянных здесь родителей, друзей или просто погибших. Люди плакали или сосредоточенно молчали, разбрасывали цветы, просто так, по земле — никакого памятника на этом месте не было.

Что-то заставило меня обратиться к этим рыдающим людям, обратиться с кратким словом о том, что на этом месте, месте расстрела ста тысяч ни в чем не повинных людей, будет стоять памятник! Не может не быть поставлен именно здесь, где впервые за всю войну, в таких невиданных доселе масштабах фашизм на практике осуществил свою «расовую» теорию. Потом это место понравилось и стали расстреливать всех подряд, не считаясь с национальностью.

Вспоминая об этом, я привел слова из книги Луначарского: «Антисемитизм — это самая выгодная маска, какую может надеть на себя контрреволюционер». С этих слов начинается книга. Вышла она в 1929 году, Гитлера еще не было, и Анатолий Васильевич не мог себе представить тогда, во что может вылиться это страшное явление. Четыре года спустя он увидел это собственными глазами, когда, будучи назначен послом в Испанию, проезжал через ставшую уже фашистской Германию. Но написать ему об этом не пришлось. Не доехав до Мадрида, он умер во Франции, в Ментоне, в 1933 году.

...Прощаясь уже в коридоре, он очень дружески пожал мне руку и просил, когда я буду в Москве, не стесняться и заходить запросто — он и Наталия Александровна всегда рады будут меня видеть.

— Надеюсь, — сказал он, улыбаясь, — в следующий раз придет ко мне уже студент архитектурного вуза... Не так ли? (Опять «не так ли?» — «n'est ce pas?».) И обязательно зайди к Тото. Он с мамой живет в Лебяжьем переулке. Запиши адрес.

Адрес я записал, но ни Анатолия Васильевича, ни Тотошку больше уже никогда не видел. Знаю только, что Тотошка стал писать — сначала вместе с матерью Анной Александровной под псевдонимом «братья Зензибер», потом под собственной фамилией. В войну был корреспондентом на Черноморском фронте. Пал смертью храбрых в беспримерном по дерзости и трудности Новороссийском десанте в сентябре 1943 года.

В журнале «Москва» № 5 за 1967 год напечатан его очерк «На катерах-охотниках», записки из фронтового дневника и несколько писем матери, которую не только любил, но был с ней по-настоящему дружен. Там же в журнале его фотография 1940 года. Красивый, длиннолицый молодой человек с умными, немного грустными глазами и маленькими усиками. Таким я его не знал. Тогда, в Третьяковке, грустного в нем ничего не было,

а в детстве, когда мы таскали друг друга за волосы, и того меньше.

А в квартире Анатолия Васильевича (теперь там музей) мне пришлось побывать еще после войны, на этот раз в гостях у Наталии Александровны, с которой вторично познакомился через ее брата, в прошлом литературного секретаря Луначарского И. А. Саца.

И опять я сидел за тем же столом, даже на том же самом месте, и, проходя через гостиную с внутренней лестницей, невольно опять подумал о своей будущей даче или вилле. А надевая пальто в прихожей, вспомнил последнее рукопожатие Анатолия Васильевича, его смеющиеся сквозь пенсне без оправы глаза и последнее его «не так ли?» — «n'est ce pas?».

АЛИНА АНТОНОВНА

У изголовья кровати моей матери висит в белой с позолотой раме картина, на которой изображен букет бледно-розовых роз и еще каких-то неведомых мне белых цветов (к своему удивлению, я только сейчас их обнаружил, хотя картину эту помню с тех пор, как помню самого себя) в фарфоровой вазе, стоящей на чем-то, напоминающем дощечку. Внизу справа дата — 1874 и подпись — А. Эрнъ. Акварельный букет этот принадлежит кисти «благородной девицы» Алины Эрн и сделан на уроке рисования в Смольном институте, когда ей было семнадцать лет. Чуть ниже роз в дубовой рамке фотография красивой девушки в белом кружевном платье с медальоном на шее и зачесанными назад волосами, с длинными буклями сзади. Рядом с ней другая фотография — пожилой дамы в очках, сидящей за письменным столом и вполоборота повернувшейся в сторону объектива. И девушка и дама одно и тоже лицо — Алина Антоновна Мотовилова (в девичестве Эрн) — моя бабушка, мать моей матери, самый добрый человек, которого я знал в жизни. На первой фотографии ей семнадцать лет, на второй на пятьдесят лет больше. Первая снята Ю. Штейнбергом «на Невском пр. на уг. Б. Садовой № 52/8», вторая снята мною в Киеве.

В бабушке не было ни капли русской крови (отец по проис-

хождению швед — Антон фон Эрн — вернее Орн — генерал русской армии, мать — итальянка, родом из Венеции, Валерия Францевна Флориани), но как-то так получилось, что бабушка моя умудрилась сочетать в себе все самые положительные черты русского человека. Приветливость, доброта, исключительное гостеприимство, умение легко переносить трудности (а их в ее жизни было предостаточно) и необыкновенная легкость в обращении с людьми любого положения и происхождения. К тому же она была на редкость обаятельна. Друзья мои всех возрастов — от мальчишек со школьной скамьи до институтских курящих и пьющих студентов — души в ней не чаяли. Все ее любили — мы, соседи по дому, швейцар Герасим, швейцариха Катя, почтальон Никифор Петрович, бубличник, приносивший по утрам домой свежие бублики, — все до единой молочницы, продавцы и продавщицы в «сорабкопах» (были такие в моем детстве «гастрономы») и конечно же все нищие, сидевшие на Марино-Благовещенской (теперь Саксаганского), и даже извозчики, стоявшие на углу Б. Васильковской, хотя услугами их бабушка из-за отсутствия средств не очень-то часто пользовалась. Такой милый и открытый был у нее характер.

Была она ко всему еще и красива. Красота, которую не искажает старость, по-видимому, и есть подлинная красота. И дело даже не в правильности или благородстве черт, а в том, чего на фотографии из альбома не увидишь, — в выражении глаз и в улыбке, которые на всю жизнь остались молодыми.

Думаю, что именно ее взгляд и улыбка покорили некоего господина с бакенбардами, который на балу в Смольном пригласил Алину Эрн на первую мазурку. Этим господином с бакенбардами был самодержец всероссийский император Александр II.

Вот так бабушка начала свой жизненный путь — папа с Анной

на шее, институт благородных девиц, трогательные розы в белой рамочке, мазурка с царем...

А потом...

Потом жизнь в имении своих родителей в Симбирской губернии, в Бугурне — я никогда там не был, но в детстве очень ярко представлял его себе: парк со столетними дубами или липами, белый дом с колоннами, варят варенье, словом — «Евгений Онегин» в Большом театре, — потом, очевидно, выезды в свет, замужество, дети... Дальнейшее я знаю в основном из рассказов матери и, главное, тетки Софьи Николаевны Мотовиловой, к воспоминаниям которой, опубликованным в № 12 «Нового мира» за 1963 год («Минувшее») адресую всех читателей, интересующихся жизнью русской интеллигенции левого направления тех давних лет.

Так вот, с появлением детей — четыре дочери, младшая, Ниночка, умерла еще ребенком, — жизнь несколько изменилась. Меньше липовых аллей, больше симбирских улочек, а потом, после смерти дедушки, симбирские улочки сменились на Лозаннские в Швейцарии. Почему бабушка одна с тремя детьми поехала вдруг в Швейцарию? Два имения — в Бугурне и в Цельне — двух маминых бабушек, Валерии Францевны и Луизы Францевны (моя бабушка вышла замуж за своего двоюродного брата) — и вдруг ни с того ни с сего Швейцария? Как мать сейчас объясняет, просто для того, чтоб сменить обстановку после смерти ее отца. «Ну и для того, чтоб научились французскому языку...» — добавляет она, мило улыбаясь.

Учились они французскому языку что-то очень долго. Потом медицине — мать, геологии — тетка. А бабушка, как это называлось, «вела дом» и вместе с женой Плеханова успевала еще устраивать благотворительные концерты для русских эмигрантов и студентов. У бабушки в доме на рю Мопа, 55, бывал и сам Плеханов, бывал и Р. Э. Классон, муж бабушкиной сестры, видный

русский марксист, на квартире которого, кстати, Ленин познакомился с Надеждой Константиновной Крупской. Был на Мопа однажды и Ленин.

Тут я позволю себе привести несколько строк из «Минувшего» моей тетки.

«Ленина я помнила еще с 1895 года, когда он в свой первый приезд в Швейцарию заезжал к нам и провел у нас полдня.

Было это так. Горничная сказала моей маме, что ее кто-то спрашивает.

Вошел незнакомый человек и сказал, что его прислал Классон. Мама ввела его в гостиную, там у нас на столике лежали социалистические газеты. Человек этот бросился к столику и, не обращая внимания на маму, весь погрузился в газеты.

Потом они с мамой разговорились. Мама должна была объяснить ему, как проехать к Плеханову.

Обращаясь к маме, незнакомец сказал:

— А мы с вами из одного города, из Симбирска.

— Как же ваша фамилия?

— Петров, — ответил он.

(Ленин одно время, как известно, подписывался Петровым.)

— Какой же это Петров, — раздумывала мама, — может быть, сын булочника?

— Да нет, — ответил он, — этого Петрова вы не знаете.

За ужином Петров был очень сдержан, разговаривал мало. Позже, когда к нам приехал Классон, он спросил маму:

— Был у вас Ульянов?

И тут все выяснилось. . .»

Есть и другое семейное предание — рассказано оно было мне самой бабушкой, — связанное тоже с визитом Ленина на Мопа и старинной фарфоровой чернильницей в виде юного всадника в клетчатом берете с пером. Чернильница эта сохранилась

и стоит на специальной полочке под большой застекленной цветной (вернее, раскрашенной, но очень удачно, хотя это было лет сто тому назад) фотографией Шильонского замка. Почему все это сохранилось и почему именно э т о (какие-то прадедовские итальянские акварели в рамках, ломберный столик, бабушкины «розы»), а не то (Руссо, Вольтер, Гельвеций в кожаных, тисненных золотом переплетах или «подшивка» газеты «Радио» за 1979 год, издававшаяся мною с другом в отроческие годы), — все это до сих пор мне не совсем ясно. Уходя из Киева, немцы сжигали дома, предварительно очищая квартиры. Но делали это со свойственной немцам педантичностью и систематичностью — не торопясь, загодя, этаж за этажом, квартира за квартирой. И только днем. Изгоняемые жильцы пользовались этим и по ночам переносили вещи на свои новые места жительства. То же делали и моя мать с теткой. И начали, по их словам, с наиболее легких вещей — картин, разных фарфоровых статуэток, дорогих как память о чем-то и о ком-то, оставив тяжелые книги под конец. Конец пришел скорее, чем его ожидали, и все книги (а их было очень много) сгорели в своих прекрасных красного дерева шкафах.

Так спасся, унесясь на фарфоровом коне, и юный принц в клетчатом берете с оранжевым пером. Как попал в наш дом этот принц, бабушка уже не помнила, но твердо помнила, что о принце этом, вернее о его «внутренностях» (верхняя часть снимается и в нижней обнаруживается маленькая чернильница и песочница), у нее с Петровым-Ульяновым тоже шел какой-то разговор. Почему Ленин обратил внимание на принца — бабушка тоже не помнила (очевидно, просто, чтоб заполнить возникшую паузу), но то, что Ленин взял со стола листок почтовой бумаги, что-то написал на нем, посыпал написанное золоченым песком из песочницы, а потом сказал: «Вот и посыпался песочек из нашего с вами принца», — запомнила хорошо.

— Но, бабушка, — удивлялся я, — ведь в конце девятнадцатого века давно уже не было песочниц, были промокашки.

— А вот в принце был еще, сохранился, — невозмутимо отвечала бабушка.

— Странно...

— Ничего странного. Сохранился, и все.

— А что Ленин написал на бумажке? — не унимался я.

— Не помню уж. Да, вероятно, и не читала. Так, несколько каких-то слов...

— И где же эта бумажка? Выкинула небось?

Бабушка смущалась:

— Выкинула, вероятно.

Я укоризненно качал головой, и бабушка еще больше смущалась.

Бабушка прожила 86 лет. Первую половину в девятнадцатом веке, вторую в двадцатом. Как не трудно догадаться, я помню ее во второй половине второй половины ее жизни. Тогда она уже не собирала средства для русских эмигрантов и студентов и не перевозила через границу в своей шляпе экземпляры «Искры» (было у нее и такое), а была она просто иждивенкой и домохозяйкой, а для нас с друзьями просто бабушкой, умевшей варить чудное варенье (конечно, когда был сахар), печь изумительные куличи (и всему этому она научилась в Смольном!), а главное, с удовольствием пичкала всем этим наши ненасытные глотки, привыкшие в основном к пшену и вобле.

Кроме того, бабушка ходила по «сорабкопам» и на базар — мать и тетка на работе, я в школе, — и в эту же самую школу, объясняться с математиком или физиком, а по утрам, перед школой, кормила меня, потом, после «сорабкопов», готовила обед, ну и т. д. до вечера, когда ей разрешалось только полоскать и вытирать чайную посуду. Где-то между этим или после этого она что-то обязательно шила, а улегшись в кровать, еще читала

французские романы. И все она успевала — тихо, спокойно, не суетясь. А когда мы жили в Алуште, высоко на горе, где пересохли все цистерны и воду приходилось носить в ведрах из города (километра два в гору), бабушка считала своим долгом нести маленький бидончик с водой и никому не разрешала ей помочь. Думаю, что в Смольном этому не учили.

Но не только трудностей не боялась бабушка, она вообще была бесстрашна. Кроме коров и гусей, она не боялась никого. Ни «белых», ни «красных», ни петлюровцев, ни гайдамаков, ни даже управдома, перед которым все трепетали. Обстрелов она тоже не боялась.

— Алина Антоновна, — прибегает запыхавшийся Герасим-швейцар, — обстрел начался. Надо в подвал.

— Ну и бог с ним, с обстрелом. Посижу, пошью чего-нибудь.

Это, конечно, если все дома были. Если же кого-нибудь не хватало, выходила на балкон и под гул канонады стояла тут — не сходила с него до момента возвращения отсутствующего.

Я говорил уже о том, что ее все любили — молочницы, нищие, сосед Али-бек, целовавший обязательно ей руку, две старушки-сестры из 19-й квартиры, Анна и Клара Абрамовны, приносившие ей почему-то всегда к пасхе изюм для куличей, и еще многие и многие. Но больше всего, по-моему, ее полюбили два «ставших у нас на постой» красноармейца. Одного звали Лякондев, другого уж не помню как. Я, мальчишка лет восьми-девяти (ходил уже в школу), был, конечно, в восторге — винтовки, штыки, котелки, запах махорки на всю квартиру, да и сами красноармейцы что надо — здоровые, обветренные, с хриплыми голосами и добродушными деревенскими улыбками.

Бабушка их сразу же накормила чем-то, но когда увидела, что они, скинув шинели и гимнастерки, собрались бить вшей, строго вдруг сказала (в первый и в последний раз я услышал нечто вроде металла в ее голосе):

— Нет! Это уже нет. Принесите дров и воды, и я натоплю вам ванну.

Ребята чуть-чуть смутились, но тут же оделись, и через какой-нибудь час на кухне была уже гора поломанных заборов, и все имевшиеся у нас ведра, корыта, баки, кастрюли и тазы были наполнены водой. К «вечернему чаю» ребята вышли из ванной чистенькие, розовенькие и чинно пили с нами чай из самовара, с гордостью вывалив на стол гору колотого сахара, которого я давно уже не видел.

Пробыли они у нас недолго — дней пять, не больше. Ляконцев, находивший, что у нас в квартире холодно, притащил для растопки целую кипу книг («Проходил мимо библиотеки, дай, думаю, зайду. . .»), но тут уж я воспротивился — страшно было смотреть, как горят книги.

Прощаясь, Ляконцев с другом торжественно положили на стол толстенный кусок сала, полную наволочку сахару и несколько буханок хлеба.

— Это за то, что добрая, бабуся, — сказал Ляконцев. — Барыня, а простых понимаете. — И даже расцеловал ее.

Бабушка явно смутилась.

Да, бабушка понимала и простых, и сложных. А сложнее всех была ее собственная дочь Соня. Удивительно, до чего же разных трех дочерей родила бабушка. Старшая — Зина, моя мать, Зинаида Николаевна — веселая, общительная, доброжелательная, любящая концерты, театры, путешествия, прогулки, которых сейчас в свои девяносто лет она, увы, лишена; младшая — Вера, ее я не знаю, она как вышла замуж в Швейцарии, так и оставалась там до своей смерти — говорят, была чопорной, светской, малообщительной, с большим разбором выбиравшей немногих своих друзей; третья — средняя — Соня. Ее, между прочим, бесстрашная бабушка побаивалась, пожалуй, даже больше, чем коров и гусей. Характер у тети Сони был нелегкий. Добрая

в душе, желавшая всем помочь, и не только желавшая — готовая отдать последнюю копейку, она делала это так властно и деспотично, что многие от нее просто шарахались.

Бабушку она любила безгранично. В молодости жила отдельно от семьи, у нее были свои интересы, свои знакомые, в основном марксисты (большим другом ее был В. П. Ногин), но после возвращения нашей семьи из Парижа в 1915 году приехала в Киев, и мы жили уже все вместе. Семья у нас была дружная, но, как я уже говорил, бабушка слегка побаивалась Сони. Ну, не то что побаивалась, просто она любила тишину, покой, мир, а тетя Соня вечно по поводу чего-то негодовала, чем-то возмущалась, против чего-то протестовала, и всегда громко, с хлопаньем дверьми. Бабушка вздрагивала и жалобно смотрела на меня. А вечером, когда надо было идти в ванную умываться, она пальчиком манила к себе и шепотом говорила:

— Поведи меня ты. Она там меня терроризирует — не то мыло взяла, не то полотенце...

А мы с бабушкой всегда жили душа в душу, и я не припомню, чтоб она когда-нибудь возвысила на меня голос. Да и вообще ни на кого его не возвышала. Кажется, только на одну из наших очередных соседок по квартире, «мадам» Задеревич — неряшливую старуху, вечно шуршавшую в своих шлепанцах по коридорам, останавливаясь у каждой двери, чтоб послушать, о чем говорят. Когда у нас были какие-нибудь гости, она обязательно постучит, засунет голову (интересно же, кто сегодня у нас сидит) и, чтоб оправдать свой стук, громким шепотом говорит:

— Алина Антоновна, ваша кошка в коридоре опять наср...и (всегда во множественном числе).

Вот тут бабушка не выдерживала и говорила ей что-то не грубое, упаси бог, просто несколько более резкое, чем обычно.

Последние годы перед войной бабушка ослабела. У нее был небольшой, как тогда говорили, удар, и ей стало трудно ходить, приволакивая ногу. Отпали магазины, базары, готовление обедов. Сидела в кресле и что-то штопала, штопала — она не могла без работы, — в сотый раз перечитывала французские романы в желтых обложках — у нас их был миллион — или писала красивым бисерным почерком письма тете Вере и своей подруге по Лозанне. Кстати, письма ее были всегда интересны — сужу по тем, которые получал, когда жил вне дома, — полны метких, забавных деталей и написаны настолько живо, что на них сразу же хотелось отвечать.

В последний раз я видел бабушку в апреле 1941 года. Те последние предвоенные годы я работал вне дома и приезжал в Киев только на лето. На этот раз я приехал на три дня из Ростова, где служил в Театре Красной Армии, менять паспорт. Бабушка, постаревшая, но такая же милая и ласковая, страшно мне обрадовалась и все строила планы на лето, как будем жить мы где-нибудь под Киевом, в Буче или Клавдиеве, и по вечерам совершать прогулку — «прощаться с солнцем», как говорила она. Это была традиция — после ужина выходить на опушку леса, там садиться (я нес специально плетеное кресло) и смотреть на последние лучи солнца, заходившего за дальний лес.

Мечтам этим не суждено было сбыться. 4 апреля 1941 года — я навсегда запомнил этот день — я уехал из Киева, чтоб вернуться в декабре 1944 года уже в погонах.

Последние слова бабушки, когда мы прощались:

— Зина говорит, что мы в этом году тоже будем в Буче. Ну и порезвимся же мы с тобой там.

А «порезвиться» означало следующее. Когда по каким-либо причинам ни мамы, ни тети Сони не было на даче, бабушка заговорщицки подмигивала мне и полушепотом говорила:

— Порезвимся, Викунчик?

И я приносил тогда из погреба аккуратненький кубик творога, и мы ели его руками, посыпая сахаром. Бабушка-смолянка любила есть творог не ложечкой, а именно руками, но при дочерях боялась «резвиться».

Последнее воспоминание о бабушке — я с чемоданчиком иду на вокзал, а она стоит на балконе, из трещины которого по загадочным законам природы растет тополек, и машет рукой. Машет, машет, пока я не завернул за угол. Бабушка и тополек — последнее, что запомнилось о довоенном Киеве.

Умерла бабушка 27 марта 1943 года, так и не дожив до освобождения. В Сонином дневнике есть запись: «Мама все повторяет: «Вот дождусь Викочку и тогда спокойно умру». Не дождалась. Умерла от гангрены. Тяжело перечитывать страницы дневника, посвященные последним ее дням. Холод, голод, безденежье, все, что возможно, продано. И милая, терпеливая, деликатная, ни на что не жалующаяся бабушка, только на темноту жаловалась — экономили керосин на коптилку — и на отсутствие людей. А она их так любила.

Из Сониного дневника:

«Маме ужасно тоскливо. Зина целый день на своем заводском медпункте, я в этой никому не нужной библиотеке, и она одна с несимпатичной женщиной, ни писем, ни прогулок, ни знакомых... Маме хотелось радости. Придет какой-нибудь знакомый человек, и она находит: такой он симпатичный, такой милый...»

Покоится бабушка на Байковом кладбище под разросшейся уже березкой. В одной ограде с ней теперь и тетя Соня. Лежат рядом. Они очень любили друг друга, хотя бабушка и побаивалась ее.

ЧУЖОЙ

Настоящая фамилия Ивана Платоновича Чужого была Кожич — ленинградцы хорошо помнят его брата Владимира Платоновича Кожича, режиссера Театра имени Пушкина. Ивана Платоновича тоже — последние предвоенные годы он работал в Театре Ленинского комсомола. Обоих уже нет в живых.

Я был учеником Ивана Платоновича. В тридцатые годы. А он моим учителем. И кумиром. Да и не только моим. Я не встречал до сих пор человека, который, столкнувшись с ним, не влюблялся бы в него — сразу же и навсегда.

Свела меня с ним чистая случайность.

Шел 1933 год. К этому времени я успел уже кончить три курса архитектурного факультета Строительного института, позаниматься месяц шагистикой, стрельбой и пением строевых песен в лагере под Киевом и, загорелый, полный сил и энергии, вернулся к концу лета в родной Киев.

Занятия в институте еще не начались, и я ежедневно таскался на пляж, а по вечерам писал рассказы. Мы все тогда писали рассказы. Мои друзья — во всяком случае. Сначала читали их друг другу, потом этого оказалось мало, и те из нас, кто верил в свою литературную звезду, стали ходить в литературную студию при Союзе писателей. Руководил ею Дмитрий Эрихович Урин. Он был молод, ему не было еще и тридцати, но талантлив

и уже известен — на полке в кабинете стояли его собственные книжки, а в Русской драме шла его пьеса. Кроме того, он был завлитом этого же театра. Вот он нас и учил.

Когда я возвратился из лагеря, его в Киеве не было, отдыхал. Как только вернулся, мы — я, Леня Серпилин и Randomizeнчик Локштанов, мои ближайшие друзья по институту, — сразу же ринулись к нему с тетрадками новых произведений под мышками. Но чтения не состоялось, Дмитрий Эрихович торопился в театр.

— Что поделаешь, служащий. Зарплата... — И вдруг запнулся: — Слушайте, ребята! Хотите поступить в студию?

— Какую еще студию? Мы ведь уже...

— Да нет, не в литературную, в театральную.

— Зачем?

— Да просто так, из озорства. Я как раз иду принимать экзамены. Пошли?

Мы переглянулись.

— Ну? Решайте. Чтение наше сегодня все равно не состоится, в кино билеты уже не достанете, а шляться по Крещатику и стоять в очереди за пивом — просто бездарно.

Кто-то из нас удивился:

— А что же мы на этом экзамене делать будем?

— А что на экзаменах делают? Сдают. Или проваливаются. Не все ли равно. Изобразите там что-нибудь, прочтете басню Крылова, пушкинского «Гусара» или из «Нулина» кусок — вот и все. И время убьете, и расставаться, ей-богу, не хочется, я же, бродяги, по вас соскучился.

Мы тоже соскучились. И тоже не хотелось расставаться. И мы пошли.

На третьем этаже театра в маленькой комнатке сидела комиссия. По коридору слонялись юнцы и девицы. Юнцы курили, девицы поминутно смотрелись в зеркальца.

Когда открывалась дверь, выпуская кого-то бледного или

красного, в зависимости от характера и темперамента, мы видели сидящую за столом комиссию, о которой прошедшие экзамен отзывались по-разному. «Строгие, сволочи...», «Придираются», «Ты читаешь, а они перешептываются», «А один там, в углу, прикрыл рукой глаза и слушает, слушает...»

Этим одним был Иван Платонович. Когда я в свою очередь, стараясь быть как можно развязнее, в небрежной позе стал посреди комнаты перед рассевшимся у стола синклитом, первым в глаза мне бросился этот длинноногий, с небольшой красивой головой и серьезными, устремленными на меня глазами сорокалетний человек в коричневом костюме, сидевший в дальнем углу.

Хотя я ни одной минуты не собирался поступать в эту студию — зачем она мне, я уже выбрал профессию, — я все же порядком волновался. Стихов я никогда в жизни не читал, басни же просто презирал, как любое нравоучение. Тем не менее в руках я сжимал томик Блока и прочел из него «Скифы». Потом басню, не помню уже какую. За басней последовал «Этюд» — мне надо было изобразить базарного вора. Изобразил, как мог. Комиссия перешептывалась. (Я часто встречаю «ее» — эту комиссию — теперь на киевских улицах или в парках — кто на пенсии, кто пишет мемуары, а кто еще и работает.) Иван Платонович сидел в углу и молча, серьезно слушал, прикрыв глаза рукой, — он не любил бьющего в глаза света. После этюда он встал, прошелся по комнате — одно плечо у него оказалось выше другого, — подошел ко мне, внимательно посмотрел и спросил:

— Кто ваш любимый писатель?

— Гамсун, — без запинки ответил я.

— И на сцене видали?

— Видал. «У врат царства». С Качаловым и Еланской.

Он, кашлянув, ничего больше не сказал и ушел в свой угол. Кто-то из комиссии спросил:

— Вы поете?

— Да, — уверенно сказал я, хотя вокал отнюдь не был моей стихией.

— Тогда спойте что-нибудь. Без аккомпанемента можете?

— Могу! — И спел строевую песню «Наддніпрянський полк ударний. . .», мы ее ежедневно распевали в лагерях.

Комиссия улыбалась.

— А что-нибудь другое?

Другое так другое. Я спел «Индийского гостя».

— Спасибо, — сказали мне, и я, несколько ошарашенный, вышел в коридор.

На следующий день в списках принятых я обнаружил свою фамилию. Локштанова и Серпилина тоже. Что читал Ленька — не помню (в противоположность мне, он знал все — от Ахматовой до Демьяна Бедного), читал хорошо, но «этюдом» комиссию несколько озадачил: он провел его молча, сидя на стуле и не сделав ни одного движения. Дело в том, что ему предложили изобразить Ван-дер-Люббе, поджигателя рейхстага, а тот, как известно, на Лейпцигском процессе не очень-то был болтлив.

Так или иначе, хорошо или плохо, но в студию нас приняли. Всех троих. И велено было прийти на следующий день в шесть часов вечера на первый вводный урок.

Этот вводный урок все и решил.

Провел его Иван Платонович. Несколько вступительных слов сказал Марсель Павлович Городисский — директор студии и в то же время практикующий адвокат. (Я недавно его встретил. Работает. Выступает в суде. И пишет записки.)

Иван Платонович говорил негромко, без всякого пафоса, сначала сидя за столом, потом встав и расхаживая перед нами на длинных своих ногах, сунув правую руку в карман. Из левого кармашка пиджака выглядывал кожаный, плоский порт-

сигарчик с двумя папиросами — у него был туберкулез, курить ему нельзя было, но две штуки, на занятиях, он всегда выкуривал.

К моменту вводной лекции нам уже было известно о нем все. Ему сорок четыре года. До революции — провинциальный актер, играл в Орле и у Собольщикова-Самарина в Екатеринодаре. Успех. Но не долгий. Болезнь — туберкулез легких — на три года отрывает его от сцены. В 1916 году, поправившись, поступает в Художественный. Замечен Станиславским. Играет небольшие роли, а через два года получает роль Барона в «На дне». («Роль эту когда-то с виртуозным совершенством играл В. И. Качалов, и приходится признать, что И. П. Чужой целиком может выдержать экзамен сравнения» — «Театральная газета», 9 июня 1918 г.) Успех полный! На очереди главная роль О'Нейля из пьесы Бергера «Потоп» в постановке Е. Вахтангова. Но... С одного из очередных спектаклей «На дне» Ивана Платоновича увозят в тяжелом, почти смертельном состоянии в подмосковную больницу в Химках. После этого несколько лет лечения в санаториях Крыма и Кавказа.

Двадцатые годы — Киев. Театр студийных постановок. Режиссер-педагог. Кругом молодежь. Опять успех. О студийных спектаклях пишут в газетах. Хвалят. А. В. Луначарский, посмотрев «Смерть Пазухина» Салтыкова-Щедрина, тоже похвалил. (А мхатовский спектакль покритиковал — «беззлобный», а надо, чтоб кусался» [1].) Еще три спектакля — «Потоп», «Гибель «Надежды» Гейерманса, «Женитьба Бальзаминова», и, несмотря на популярность у зрителей, театр-студию в 1929 году закрывают — новые веяния в искусстве.

Сейчас Ивану Платоновичу предложено учить нас. И вот мы сидим перед ним на стульях, поставленных в ряд в нижнем фойе

[1] А. Луначарский. К возвращению старшего МХАТа, 1926.

театра, — двадцатилетние мальчики и девочки, и внимательно слушаем его. А он ходит перед нами и говорит.

Ничего, кроме мук и терзаний, он нам не обещает. Ничем не обольщает. Впереди труд. Нелегкий труд. И полная отдача себя. Никаких компромиссов. Или театр, или — уходи, пока не завяз. (А мы трое на четвертом курсе института, через два года диплом!) Одним словом, «идите домой и крепко подумайте. . .».

Ленька Серпилин «крепко подумал» и на вторые занятия не пошел. Мы с Initially Ончиком пошли — и на вторые, на третьи, четвертые. И так четыре года: утром институт, вечером студия.

От Ивана Платоновича сохранилось у меня не много — его фотография, сделанная мною и Иончиком, мой собственный шарж на него, два письма и восемь открыток (последних дней войны) и крохотная записочка, которую я обнаружил еще до войны, но уже по окончании студии, на дверях своей квартиры: «Звонил, стучал — не открывают. Обнимаю. Чужой». Вот и все. Из вещественного, осязаемого. Из более хрупкого и дорогого — светлая память о нем, память о человеке, которому я бесконечно многим обязан, открывшему мне глаза на явления, мимо которых я спокойно раньше проходил, научившего меня по-настоящему понимать и любить искусство и в первую очередь п р а в д у в нем. Я прошу прощения за эту несколько высокопарную фразу, но это действительно было так.

Учитель и ученик. . . Это и строгий, очкастый математик у черной доски с мелом в руках, а перед ним запутавшийся в дробях вихрастый паренек, это и Флобер, не выпускавший до поры до времени Мопассана на широкую дорогу, это и Христос со своими апостолами. . .

Кем были мы? Воском, глиной, пластилином. Из нас хорошо было лепить. Были мы иногда строптивы, упрямы, обидчивы (девочки частенько поплакивали), но пальцы у Ивана Платоновича, при всей его мягкости, были сильные, как у настоящего скуль-

птора, и мял и вылепливал он из нас, что хотел. Причем делал это так тонко и умело, что нам казалось, будто мы сами к этому стремимся, а он, ну, он где-то там изредка подтолкнет.

Я не знаю, что испытывает глина или воск в руках скульптора, мы же в руках Ивана Платоновича — все! Всю гамму свойственных человеку чувств — от черного горя, когда хочется с моста вниз головой, до ощущения неземного блаженства, восторга, счастья, дальше которого некуда уже и идти.

По тому, как он сидит, или встает, или ходит, вынимает папиросу, закуривает, затягивается, мы уже знали, доволен он или нет, бросаться ли с моста или бродить счастливому, одному, вдвоем, а может быть, и с самим Иваном Платоновичем по ночному Киеву, под его могучими каштанами и липами.

Иван Платонович любил эти прогулки, неторопливые, бесцельные, когда говорили больше мы, чем он, хотя он и не был молчуном, он не был и по-актерски болтлив, не рассказывал историй и анекдотов из театральной жизни, а о своем прошлом не вспоминал никогда, как будто его и не было. В театре, или, как принято у актеров говорить, на театре, это явление более чем редкое.

Часто, когда он уставал после репетиции, мы просто провожали его домой, на Бессарабку, где он жил в одной комнате со своим верным Санчо Пансой, другом детства и одноклассником (даже однопартником) — чудесным, маленьким, приветливым Феофаном Кондратьевичем Епанчей. Иногда, когда он болел, мы заходили к нему и усаживались у его железной кровати, над которой на стенке висело громадное «Чужой» (кто-то в шутку вырезал это слово из афиши «Чужого ребенка»). Иногда, обыкновенно на какой-нибудь праздник — 1 Мая или чей-нибудь день рождения, — он заходил к «нам», точнее, к Нанине Праховой. У Праховых была прекрасная многокомнатная квартира, вся увешанная картинами в золотых, тяжелых рамах, преимущественно

Врубеля, с которым дружил Нанинин дед, знаменитый в свое время археолог, искусствовед, педагог и художественный критик Андриан Прахов, «открывший» миру Кирилловскую церковь в Киеве — уникальное сооружение шестого века.

У Праховых мы «резвились», ставили какие-то шарады (многие специально к ним готовились, чтоб новой «находкой» поразить Ивана Платоновича), слушали рассказы Николая Андриановича, Наниниого отца, о Врубеле, Васнецове, Нестерове, которые часто бывали и даже жили в этом доме, — отец и мать Нанины тоже были художниками. Потом долго пили чай — да, только чай! — и где-то после двенадцати шли провожать Ивана Платоновича через весь город к его уже волнующемуся, стоящему на балконе, уютному Феофану Кондратьевичу.

Но все это был, так сказать, отдых, внепрограммное общение с Иваном Платоновичем. Настоящее же «общение» — и вот тут-то счастье и горе — происходило на репетициях, в большом зале театральной столовой, из которой выносились столы и стулья.

Первый год мы играли «этюды» и ставили отрывки из Чехова. На втором курсе мне дьявольски повезло — дали Хлестакова, второй акт «Ревизора». Потом уже Иван Платонович рассказывал мне, почему он отважился дать мне эту роль, мечту моей жизни.

После первого курса (и четвертого архитектурного) институт послал нас на практику. Мы с приятелем попали в Севастополь. Там мы, не переутомляясь, строили какие-то печки, в основном же купались и загорали на станции «Динамо» у Графской пристани и с утра до вечера мечтали о сытном обеде — год был нелегкий, тридцать четвертый. И вот в одном маленьком, беленьком, как и все в Севастополе, домике на Северной стороне (у родителей моего друга, с которым я вместе работал в Киеве на постройке вокзала) мы эту нашу мечту осуществили полно-

стью. Мы съели и выпили все, что было на столе, а на столе было много кое-чего, и еще по карманам растыкали. Я надолго, на многие годы запомнил это Лукуллово пиршество.

Вернулись в Киев. Начались занятия в студии. На первом же уроке Иван Платонович предложил каждому из нас изобразить наиболее запомнившийся, наиболее интересный эпизод из проведенного нами «лета». Я изобразил самого себя за столом у родителей моего друга.

— Вы ели, дорогой мой Вика, — сказал мне Иван Платонович, — с таким аппетитом, так вкусно, с такой самозабвенностью, с такой отдачей всего себя самому процессу еды, пережевывания, запивания, выбора блюд, обсасывания косточек, ковыряния в зубах, что я сразу понял: речь может идти только о Гаргантюа или Хлестакове. Я выбрал Хлестакова.

Всю зиму я работал над Хлестаковым. А в институте по утрам корпел над проектом вокзала. За вокзал я получил четверку, за Хлестакова — пять!

Счастье, охватившее меня после успеха в роли Хлестакова, я могу сравнить только с радостью, которую я испытал одиннадцать лет спустя, впервые взяв в руки восьмой и девятый номер «Знамени» за 1945 год с напечатанным там «Сталинградом» — так вначале, в журнальном варианте, называлась моя первая повесть.

Потом, на третьем и четвертом курсах, я играл матроса Селестена в мопассановском рассказе «В гавани», графа Альмавиву в «Женитьбе Фигаро», Добчинского (!) и Раскольникова, и как «диплом» Женьку Ксидиаса в «Интервенции» Л. Славина. За эти две последние роли меня хвалили, но все это было уже без Ивана Платоновича. Что-то у нас переменилось, Марселя Павловича заменили другим директором, мы приняли его в штыки (потом, правда, примирились и даже подружились), в репертуаре нашем появился «Платон Кречет» (тоже штыки, но никакого при-

мирения), и в результате всех этих перемен Иван Платонович от нас ушел.

Мы — я и Ончик — от имени всей студии ездили к нему в Остер (там у него был маленький домик, там он и родился) упрашивать, умолять, чтоб не покидал нас. Он нас очень мило, трогательно принял (сам тоже был тронут), угостил обедом, ходил с нами к речке, был тих, спокоен, как всегда обаятелен, но непреклонен. Нет, не вернется, мосты сожжены, корабли потоплены.

— Поеду осенью в Ленинград. К Володе.

— Но с вашими легкими Ленинград...

— Ничего не поделаешь. Другого выхода нет.

— Ну, а мы? — последний наш козырь. — Как же мы без вас?

Он мягко, грустно улыбался.

— Без меня Жданович, Алексей Иванович. Хороший человек. Прекрасно знает систему...

Система, система! А ну ее! Нам Иван Платонович был нужен, а не «система»...

Но он так и не вернулся. Уехал в Ленинград — не помню точно когда, некоторое время оставался еще в Киеве. В Ленинграде работал в Театре Ленинского комсомола. Поставил «Женитьбу Бальзаминова» (у нас в студии она тоже шла), пригласили туда немного погодя моего однокурсника Веньку Любомирского (я был задет — а почему не меня?), и больше я его никогда не видел.

В чем же было обаяние, всепокоряющая сила этого немолодого (для нас даже старого — сорок четыре года!), в общем-то неустроенного, живущего в чужой (ну, не чужой — дружеской) комнате, не имевшего семьи (была, кажется, когда-то жена), очень больного человека. Думаю, не ошибусь, если скажу: в любви к театру, к искусству. И в умении заставить других полюбить так же, как и он. Впрочем, «заставить» не то слово —

под ним подразумевается насилие, а для Ивана Платоновича любой вид насилия, даже мягкого, бархатного, был противопоказан.

Он был ярым врагом метода «показа», признавал только «рассказ», воевал против повторения и запоминания удавшихся интонаций, был мягок и в то же время требователен. Иногда, чтоб расшевелить находящегося «не в форме» ученика, раздражал его, доводил до точки кипения («ну, а теперь вот пошло, пошло, продолжайте. . .»), но никогда не сердился по-настоящему и не повышал голоса. Он ненавидел безвкусицу и штамп, презирал самовлюбленных актеров, будь они семи пядей во лбу, в искусстве был за правду (и не в искусстве тоже), к формальным поискам относился без особого восторга, но не отрицал их права на жизнь. Мейерхольда считал очень талантливым, но театра его не любил. (Кстати, мы были поражены, когда, попав на репетицию «Клопа», увидели, как Мейерхольд работает методом «показа» — он изображал, а такие актеры, как Боголюбов и Ильинский, пытались ему подражать, копировать.) МХАТ любил, но и критиковал. Чарли Чаплина называл величайшим актером и ходил с нами на «Новые времена».

Сейчас, когда я пишу эти записки, я пытаюсь вспомнить какие-нибудь «изречения» Ивана Платоновича. В книгах и монографиях о «великих» людях после воспоминаний о них современников и друзей бывает раздел «Мысли художника». Их обычно записывают личные секретари. У Ивана Платоновича секретаря не было (разве что Феофан Кондратьевич), но главное у него — он не любил «изречений». Его «изречениями» были репетиции, и нам этого было вполне достаточно.

Я почему-то не помню, как мы провожали Ивана Платоновича и провожали ли вообще — возможно, это было летом, и мы проходили практику. Но он уехал. А вместе с ним ушло от нас и внутреннее, может быть, юношеское, излишне восторженное, но некое озарение. У нас остались хорошие педагоги, и Женьку

Ксидиаса я делал под руководством ныне покойного Бенедикта Наумовича Норда с большим увлечением, но это было уже не то...

Окончив студию, я «подвизался», пока не началась война, на сценах Владивостока, Кирова, Ростова-на-Дону, колесил малость с «левым» театриком по клубным сценам Правобережья, в августе сорок первого был мобилизован, и на этом моя актерская карьера кончилась. И навсегда...

Летом 1943 года, на Донце, я был ранен. Попал в госпиталь в Баку. Там узнал об освобождении Остра и сразу же написал Ивану Платоновичу открытку — откуда-то я знал, что он оккупацию перенес в Остре. Ответ — длинное, невероятно обрадовавшее меня письмо — я получил на полевую почту, когда уже давно выписался из госпиталя и воевал в Польше. Пришло оно незадолго до моего второго ранения. Привожу это письмо полностью.

«1.VI.44.

Дорогой мой Вика,

...долго ничего от Вас не было, и я решил, что вы выписались из Бакинского госпиталя, не получив моей открытки и, следовательно, не зная, где я и есть ли я вообще. Очень жалко было, что оборвалась связь с Вами. Я часто думал о Вас, и Ваша открытка — первая весть с воли — показала, что мысли эти и беспокойства не были односторонними. В день освобождения Киева я послал открытку Зинаиде Николаевне, считая, что она придет раньше Вашего письма. Прошло много времени, и открытка была возвращена за ненахождением адресата. Это обеспокоило меня. В первых числах января с. г. в Киевской газете от 31.XII.43 была помещена темпераментная, понравившаяся мне статья «В новогоднюю ночь». Я удивлен был подписью под ней.

Не могло быть такого совпадения. Тут и имя, и гвардии капитан, и Киев, в который Вас должно было потянуть в первую очередь. Я несколько успокоился и насчет Ваших родных, решив (здесь я судил по себе), что если б Вы своих не нашли, то были бы слишком подавлены и не стали бы писать для газеты. Прошло несколько лет с тех пор, когда мы были вместе. И чем больше лет нас разделяло, тем яснее и четче я видел, что Вы остались не только в памяти, но и в душе. Поэтому очень рад был и второму Вашему письму, большому, но только поднявшему пласты того, что хотелось бы узнать от Вас и что — рассказать Вам. Тут, конечно, нужна встреча, и ее ничто не заменит. Может быть, Вы помните, что, уезжая перед войной на юг, я надеялся увидеться с Вами и писал об этом. Поехал я в другое место и по другому пути, а добрался до Остра в первых числах июня 41 года. Когда в сентябре через Остер прошел фронт, я оказался в дачном доме с вылетевшими окнами, продырявленной крышей, с садом, изрытым окопами и щелями, без денег, без вещей, без дров и даже без картошки, о которой когда-то переводил из французской хрестоматии, что она во время Великой французской революции спасла французскую аристократию от голодной смерти и во все времена спасает от голода всех бедняков мира. Первые же вломившиеся на постой немцы забрали все остававшееся из года в год в доме. Потянулись тяжелые дни, и я не пропал только благодаря Анне Всеволодовне, знающей немецкий и французский языки и приехавшей сюда в последнюю минуту. Что делали немцы — Вы знаете, я мог бы рассказать кое-какие детали и случаи со мной, но об этом можно говорить только в более спокойной обстановке.

В январе 42 г. умер от истощения Феофан Кондратьевич, я узнал об этом через месяц и то стороной, т. к. связи с Киевом не было. Вы представляете, как трудно было перенести эту утрату. Ведь мы с Ф. К. сели в 1 классе гимназии на одну парту

и с той поры не расставались до последних дней. Ни одного пятна не было на нашей дружбе, ни одной друг от друга тайны, ни одной измены.

О Владимире Платоновиче ничего не знаю. От жены его получил открытку, написанную в ночь с 22 на 23 июня 41 г., где говорилось, что город не спит, ждет налета. Больше ничего не знал, не слышал, не читал. Зимой почти все время лежал, спасаясь от холода, экономил энергию, а значит, и харчи. Летом, когда это позволяли обстоятельства, ловил рыбу, подкармливавшую нас. День проходил настороже — не придут ли, не схватят ли, — по ночам же у нас немцы людей не брали, и кто прожил благополучно день, мог спокойно провести и ночь. Читал киевскую газету с муками и стенаньями, надеясь найти что-нибудь об СССР. Очень редко удавалось, отравив себя лошадиными порциями зловонного пойла, найти строчку-две какой-нибудь брани или клеветы, из которой можно было бы сделать некоторые догадки и предположения о том, что делалось у Вас. Тут опять надо говорить, не уложишь всего в письме. Но вот пришло 21 сентября 43 года!

Двое суток немцы ходили по Остру и собирали уцелевших мужчин. К 4 часам 21 сентября обыски закончились. Я сел у окна и стал наблюдать за частями отступавшего немецкого арьергарда. Вдруг сзади голос: где мужчина? Пришедшие со стороны сада двое эсэсовцев уже входили на балкон по мою душу. Навстречу вышла А. В. «Где вы научились так хорошо говорить по-немецки?» — «В гимназии». — «А-а, в гимназии! Где мужчина, нам сказали, что здесь остался мужчина?» — «Мужчина давно бы уехал, но он болен и везти его невозможно». — «Вы — фольксдойче?» — «Нет». — «А почему вы здесь остаетесь?» — «На моем попечении находится заболевший господин, он — артист, но сейчас играть не может». — «А сколько их у вас?» — «Кого?!» — «Больных мужчин». — «Один, только один. Во всем доме живут

только двое — он и я. Это дача. Он приехал из Ленинграда и тут был застигнут войной». — «А-а, Петерзбург!» Полусонный немец слушал ее, глядя в одну точку, и жевал яблоко. Так продолжалось до тех пор, пока раздавшийся на соседней улице взрыв не вывел его из оцепенения. Тогда он махнул на А. В. рукой и поплелся в сторону взрыва, увлекая за собой товарища. Это были последние немцы, которых я видел.

Судя по первому периоду войны, я не верил, что освобождение придет так скоро. Немцы ведь оставили ура-блицкриг и говорили о семилетней войне.

По письмам, пришедшим от людей, не воевавших и не живших под немцем, я видел, что они не поняли многого, не почувствовали и не додумали. От ленинградцев же, остававшихся там до конца 42 г., письма уже были совсем иные.

После двухгодичного нервного перенапряжения и сверхподъема после освобождения сейчас у меня реакция, особенно чувствительная в мои годы и с моими хворями. Но надо, надо держаться до конца во что бы то ни стало. Надо «выжц», как говорил один парикмахер. С надеждой на это, с надеждой на нашу встречу обнимаю Вас горячо и дружески.

Любящий Вас И. К.»

После было еще одно письмо и несколько открыток.

«Жизнь нелегкая, здоровье плохое, надо бы съездить в Киев, Ленинград, но как это осуществить... От 6-ти до 12-ти, слава богу, включают теперь электричество, появился в доме репродуктор, а в общем-то... Надо бы поговорить... Предположите, что Ваш приятель или знакомый говорит Вам: «Нет, сегодня не зайду к тебе, надо в этот чертов Остер за картошкой ехать...» Уж тогда непременно садитесь рядом с шофером и держите путь на ул. 8 марта, 40...»

Последняя открытка, совсем уже грустная:

«27.II.45.

Дорогой Вика,

...С 20 янв. я лежу и вряд ли в ближайшее время смогу написать Вам. Однако прошу Вас время от времени посылать мне хоть небольшие цидулки. Последнее Ваше письмо очень интересно в том смысле, что в нем есть ответы на некоторые вопросы, меня очень интересующие. Ведь все пережитое Вами так огромно, что довоенными очами Вы уже не можете смотреть на жизнь и особенно на тыловую жизнь сегодняшнего дня.

Обнимаю Вас, дорогой мой. И. К.»

Больше я уже ничего от него не получил. Не дожив несколько недель до Дня Победы, он умер 16 апреля 1945, на пятьдесят шестом году жизни.

Почти через 20 лет — в шестьдесят третьем году — я оказался в Остре. Пошел на ул. 8 марта, 40, — там жили уже какие-то незнакомые люди, — сходил на кладбище, положил на какую-то безымянную могилу (старожилы сказали мне, что именно в этом «кутку», уголке, похоронили Ивана Платоновича) букетик цветов, посидел, повспоминал и ушел.

Фотография Ивана Платоновича (сделанная мною и Ончиком) стоит у меня на столе. Он красивый, грустный, задумчивый, голову подпер левой рукой — так сидел он на наших репетициях в те далекие, счастливые времена, когда, как мне тогда казалось, всю свою жизнь я посвятил театру. Я изменил ему. Осудил ли бы меня за это Иван Платонович? Думаю, что нет. Театр требует полной отдачи себя. У меня это не получалось. И я ушел из театра. Вернее, после фронта не вернулся назад. Думаю, что театр не многое потерял, а я все же остался в выигрыше — мое юношеское увлечение театром свело меня с Иваном Платоновичем. А это большое счастье...

СТАНИСЛАВСКИЙ

Летом 1937 года я окончил театральную студию при Киевском театре русской драмы, и тут же большинству из нас предложено было остаться в труппе театра. Предложение было лестное, но не очень заманчивое. Театр, конечно, неплохой и артисты хорошие, ничего не скажешь, но есть же и МХАТ! И мы поехали во МХАТ. Держать экзамен. Человек пять или шесть — точно не помню. Провалились. Тогда ринулись в Студию Станиславского. Опять провалились. Все, кроме одного — моего ближайшего друга Randomly Ирончика Локштанова. Он один был принят, и мы ему до смерти завидовали, грешным делом, объясняя все его ростом, телосложением и голосом — он пел и даже учился у известной Муравьевой.

Вернувшись в Киев, узнали, что все мы за «измену» театру из труппы исключены. Потом дано было понять, что, если подадим соответствующие заявления, будем возвращены назад. Все подали. Я отказался — был горд. . .

Чем же заняться? Возвращаться в архитектуру? Год тому назад я кончил Строительный институт. Не хочется. Хочется быть актером. И тут подвернулось нечто, именуемое «Железнодорожным передвижным театром». Так, во всяком случае, мне было объявлено, когда предложили в него поступить. До этого я пытался втиснуться в одну драматическую труппу, но что-то там не получилось, и я принял предложение «Ж.-д. передвижного театра».

Передвижным он был на самом деле, «железнодорожного» же в нем было только то, что передвигались мы по железной дороге, на самом же деле это был театр «на марках», в просторечии же «левая халтура». В «труппе» было всего восемь человек. Руководил ею Александр Владимирович Роксанов — в прошлом артист петербургского фарса, а до этого еще профессиональный борец, изъездивший весь мир, от Петербурга до Сан-Франциско. В маленькой его комнате на тихой Павловской улице висел на стенке большой его портрет — полуголый, руки с толстенными, напряженными бицепсами за спиной, через грудь — лента с медалями за победы на «чэм-м-мпионатах».

Теперь это был пожилой, совершенно седой человек, с продолговатым, интеллигентным лицом, в пенсне, очень ленивый и очень хороший. Мы сразу полюбили друг друга. И сразу начали играть в очень полюбившуюся нами игру — оба делали вид, что играем в настоящем театре.

В репертуаре были пьесы с минимальным количеством действующих лиц и максимальной увлекательности — «Стакан воды» Скриба, «За океаном» Гордина, «Тайна Нельской башни» Дюма, «Парижские нищие» не помню уже кого, «Очная ставка» Шейнина (нужно же было и советское!), еще что-то, еще что-то и — о ужас, я долго сопротивлялся, даже бунтовал! — «Анна Каренина», где я, первый любовник труппы, заливаясь краской, изображал Вронского.

С таким вот репертуаром, таская за собой жалкий свой «гардероб» и «реквизит», мы разъезжали по местечкам и районным центрам Винницкой области, где у нашего администратора был какой-то блат, и несли в массы культуру. Честно отыграв спектакль, разгримировывались и делили выручку на 14 «марок». Четырнадцать, а не восемь, потому что Роксанов получал три «марки» как актер и «худрук», Буковский — две как актер и «администратор», Коля Стефанов как актер и «зав. постановочной

частью», ну и жена Александра Владимировича как актриса и жена.

Так колесили мы из Гайворона в Гайсин, из Гайсина в Немиров, из Немирова еще куда-нибудь целый год. И я полюбил свой театр, и маленькую нашу «труппу», сплошь состоявшую из симпатичных неудачников, и крохотные клубные сцены без кулис и вечно заскакивающим занавесом, и разношерстную публику, принимавшую нас всерьез и даже по несколько раз вызывавшую, и тесные, грязные местечковые гостиницы или школы, где часто спали просто на столах, и вокзальные рестораны (ох, какие в Гайвороне были свиные отбивные, не хуже, чем в киевском «Континентале»), — и плевал я на всех друзей и знакомых, которые не переставали недоуменно пожимать плечами: «Архитектор, высшее образование, из интеллигентной семьи, а вот, поди, по каким-то дырам паясничает за какие-то там «марки»... Мать хоть пожалел бы...» Но мать я не жалел, а она меня не осуждала: «Ему там интересно, он любит своего Роксанова, ну и пусть играет, пусть разъезжает по всяким дырам».

Александра Владимировича я действительно полюбил. Это был образованный, начитанный, много повидавший в своей жизни человек, с неудавшейся в общем карьерой (в молодости, правда, был успех — и в цирке, и на сцене), но актер он был хороший и человек к тому же очень добрый.

На первый взгляд может показаться странным: как это молодой человек (мне шел тогда двадцать седьмой год), «идейный», воспитанный на канонах системы Станиславского, к искусству относящийся со всей серьезностью, к тому же ученик всеми уважаемого, а молодежью боготворимого, утонченного Ивана Платоновича Чужого, да еще после успеха в студийном Хлестакове и Раскольникове — как это такой молодой человек мог увлечься своей «ХАЛТУРОЙ»... Но это было так. Увлекся. И виновником был Роксанов.

Чужой и Роксанов в своих театральных взглядах были полярны. Иван Платонович, актер МХАТа, был ярым поборником системы Станиславского. Роксанов, актер фарса, «систему» более или менее презирал (тут между нами происходили ожесточеннейшие бои) и считал, что «учить актера плавать» надо не в плавательной школе, а просто сталкивая его с берега в воду.

— Вот вы, дорогой мой Витюша, поплавали три года в чистеньком, прозрачном бассейне с подогретой водичкой, это на определенном этапе очень хорошо и полезно, не спорю, но сейчас бассейна перед вами нет, а есть море, с волнами и всякими там рифами и акулами. Хотите вы или нет, но я вас буду в это море сталкивать — в спину, неожиданно, с самого высокого утеса.

И сталкивал. И называлось это у нас «буря в стакане воды», так как эксперименты сии, одинаково нравившиеся и ему и мне, производились в основном во время представления скрибовского «Стакана воды». Болингброка он играл не меньше тысячи раз, пьесу, очень изящную, стремительную, с великолепным диалогом, знал назубок, поэтому мог позволить себе в ней кое-какие шалости. А шалости заключались в том, что он вдруг вводил в свой диалог собственный текст (но всегда в стиле и характере пьесы), а я, игравший Мэшема, должен был этот текст подхватывать, парировать удары — одним словом, начинался увлекательный, захватывающий «диаложный» теннис.

Сейчас я от театра далек — последний раз я вышел на сцену в июле 1941 года, когда уже началась война, — но думаю, что обе эти системы — «бассейна» и «моря» — ничуть не противоречат одна другой, напротив, дополняют (вторая приучает к находчивости, быстроте реакции), и память об обоих моих столь противоречивых учителях (обоих уже нет в живых) я храню как нечто самое дорогое, теплое и близкое в моей актерской (да и не только актерской) жизни.

Но вот кончилось лето 1938 года, Винницкую область мы

исколесили вдоль и поперек, перекинулись на Киевскую, более избалованную всякими там выездными спектаклями «настоящих» театров, сборы стали падать, настроение портиться, появился микроб деморализации, все чаще вспыхивали какие-то идиотские ссоры, а я к тому же получил письмо от Иончика Локштанова, в котором он писал, что «школа Станиславского это действительно чудо, храм искусств» и тому подобное и что он «кровь из носу, а сведет меня со «стариком».

Произошел тяжелый разговор с Роксановым (мой уход ставил в тяжелое положение весь коллектив, так как я занят был во всех спектаклях), но он понимал меня, слов возражения найти не мог и, грустно улыбнувшись, махнув рукой, сказал: «Бог с вами, поезжайте».

И я поехал — Иончик к тому времени уже все подготовил.

Дальше пойдут записи, сделанные мной по свежим следам. Чудом сохранился маленький, пожелтевший блокнотик, в который я записал в тот же вечер, вернее, ночь, все, что произошло в этот столь знаменательный для меня день.

Итак.

12 июня 1938.

В час дня нужно позвонить Станиславскому, чтоб узнать о часе приема.

С утра все готовится к этому звонку — гладятся брюки, выбираются и даже стираются носки, чистятся ботинки, полчаса завязывается галстук перед зеркалом. Иончик собирался идти в апашке, но оказывается, что Константин Сергеевич этого не любит, приходится одевать воротничок.

В без четверти час мы уже сидим на лавочке в саду заветного дома, поминутно поглядывая на часы.

Ровно в час Иончик снимает телефонную трубку и набирает номер — знаменитый, таинственный номер Станиславского, которого не знает ни один человек в студии, которого нет в телефон-

ной книге и который не выдают в справочной. Этот номер К 1-52-27.

Я, трепеща, стою у дверей, чтоб никто не вошел и не помешал, и пожираю глазами Иончика. Вид у него почтительный, но серьезный. Подходя к телефону, он даже застегнул пиджак.

Он несколько раз просил меня, чтоб я не присутствовал во время его телефонного разговора со Станиславским, так как у него появится тогда подхалимское выражение лица, но я был неумолим и, к сожалению, разочарован, так как ему, по-видимому, удалось подавить в себе это чувство.

Разговор состоялся. Свидание назначено на сегодня, на 10 часов вечера.

Боже мой! До 10 часов вечера ждать, а сейчас два, совершенно не представляю, как я это выдержу, куда девать время. Чтоб не рассеиваться, я специально не пошел утром в театр на «Очную ставку», отдал билет Иончиковой матери, а тут, оказывается, просто с ума сойдешь от обилия времени.

Отправляемся в общежитие. Развешиваем брюки, рубашки и галстуки по стульям — Иончик идет играть в теннис, я укладываюсь на кровать. Около часу сплю. Потом просыпаюсь, начинаю читать бульварный роман «На берегах Гудзона» — единственное, что можно читать в такую минуту. Иончик уже спит.

Собираем и экономим силы. В голове бродят различные мысли. Пожалуй, это самый ответственный день в моей театральной жизни, а может, и вообще в жизни.

Около месяца тому назад Иончику удалось добиться разговора с К. С., которому он прямо сказал обо мне (против моего желания, между прочим) и о моем желании заниматься в Студии.

В телефонном разговоре К. С. сказал Иончику, что если я буду в Москве, то он с удовольствием послушает меня. Это была блестящая победа. Добиться того, чтоб сам Станиславский меня

слушал! Молодец Иончик, вот это настоящий друг, как сказал мне в своей напутственной телеграмме Иван Платонович.

Итак, 26 мая я выехал из Киева, фактически бросив на произвол судьбы роксановскую труппу, так как я даже не представлял, как они без меня будут играть.

По правде сказать, когда я ехал в Москву, мне не очень хотелось поступать в Студию. Я боялся этого «храма», этой лучшей в мире студии, ее дисциплины, двухлетних репетиций, преклонения авторитету Станиславского. Умом я понимал, что нужно сделать все, чтоб в нее попасть, чтоб урвать от Станиславского хоть маленькую крошку, но сердце у меня к этому не лежало. Выражаясь высокопарно, я привык к свободному воздуху жизни и боялся школьной, правда, золотой, клетки.

Ехал я в Москву с желанием встретиться со Станиславским, показаться ему, прочесть пьесу, но, повторяю, без всякого желания поступить в Студию.

Итак, 27-го я был в Москве. Поселился с Иончиком в общежитии, и сразу, с места в карьер мы приступили к работе. 16 дней мы работали как волы — по три, иногда по четыре часа в день, — работали не за страх, а за совесть, как никогда в жизни не работали. Даже в театры не ходили, не до того было. С удовольствием работали, со смаком.

И вот наконец сегодня — решительный день, или пан или пропал, а если даже и пропал, то все-таки свидание со Станиславским.

За эти дни я его уже дважды видал на студийных просмотрах. Высокий, худой, широкоплечий, старый (75 лет), но прямой, с большим, хотя и маленьким по отношению ко всей фигуре лицом, с иронически улыбающимися глазами и страшно выразительными руками. Внешность величественная, нечто среднее между кормчим с суровым лицом и ученым с дрожащей походкой.

Отношение всех к нему, особенно педагогов, как к боже-

ству. Когда он входит, все встают, он пожимает всем окружающим руки, садится. И все садятся. Смотрят собачьими глазами ему в рот, чихнет, так и кажется, что двадцать носовых платков у его носа окажутся. Неприятное, словом, впечатление.

В таких размышлениях добирается время до вечера. Облачаемся в парады, идем к Иониной маме обедать. Желают ни пуха ни пера. Обедаем, пьем чай, получаем новую порцию «ни пуха ни пера» и отправляемся на историческое свидание.

В трамвае происходит инцидент. Я повздорил с каким-то человеком. Завязалась ссора. Мы с Иончиком набросились на него и загнали дрожащего в угол. Трамвайное население обрушилось на нас. Чуть в район не попали. Что б мы тогда делали? Константин Сергеевич ждет, а мы в тюрьме... Кончилось, к счастью, благополучно. У Никитских слезли, приютились у ног Тимирязева и вооружились терпением.

До десяти еще час. Говорить уже трудно. Внутри что-то начинает сжиматься. Проходят два старых еврея, усиленно жестикулируя, мы смеемся; они проходят — мы опять замыкаемся.

Боже, как медленно ползет стрелка. Пытаюсь читать газету — не выходит. Думать могу только о сегодняшнем дне, о завтрашнем страшно.

Без двадцати десять. Встаем и направляемся к Леонтьевскому. Встречаем по дороге приятеля. Желает успеха. Прощаемся. Идем. Проходим мимо афишной доски. Загадываем, тыкая пальцем с закрытыми глазами в объявления. Выходит:

«12 мая. 30 минут парной гонки». Что это значит? Решаем, что хорошо, и заходим во двор. Минут десять сидим, говорим не помню уже о чем. Без пяти десять заходим в дом, обращаемся к дяде Мише, нашему нелегальному почтальону.

— Сейчас доложу.

Садимся на диван. Начинают руки потеть. Внешне абсолютное спокойствие, а сердце мечется в канкане.

Выходит дядя Миша:

— Они говорят по телефону.

Потом:

— Они одеваются. Сейчас позовут.

Лихорадочно докуриваю папиросу. Бегу в уборную. Наконец женщина в белом, архистратиг Гавриил, говорит:

— Кто тут к Константину Сергеевичу? Они ждут.

В вестибюле, в котором мы сидим, с мраморными колоннами и бюстами Станиславского, воцаряется тишина. Репетирующие «Гамлета» ребята на минуту застывают. С похолодевшими сердцами направляемся по коридору в кабинет Константина Сергеевича.

— Куда? Сюда?

— Да, пожалуйста, в эту дверь.

Робким движением толкаю массивную, в русском стиле, дверь. Захожу в комнату. За мной Иончик.

Комната большая, приятная. Три ампирных окна на улицу. Шторы опущены. Мягкая тяжелая мебель в чехлах. Ковер. Шкафы перегораживают комнату пополам. На шкафах вазочки. Расписной потолок. Люстра со свечами. Обстановка хорошая, но чувствуется, что за ней мало следят.

В углу дивана, глубоко погрузившись в его мякоть, сидит длинноногий человек в ботах. Сквозь большие круглые стекла пенсне с тесемкой на нас смотрят маленькие, слегка иронические глаза. Лицо малоприветливое. Кланяемся, как учили в детстве, одной головой. Подходим, садимся в кресла. Молчание. Затем вопрос:

— Ну, рассказывайте...

Растерялся, не знаю, о чем рассказывать. Что-то мычу. Второй вопрос: «Это вы?» — смотрит на меня. «Да, я». Ни тени улыбки. Затем спрашивает, что я делаю в Киеве. Я моментально успокаиваюсь и довольно связно рассказываю. Интересуется

моим акцентом, работаю ли над его уничтожением, говорю, что да, хотя фактически этого нет.

Вступительный разговор окончен, приступаю к чтению. Первым читаю «Юргиса», рассказ, написанный мною самим, но выдаваемый за психологический перл какого-то никогда не существовавшего латышского или литовского писателя Скочиляса.

— Кого, кого? — наморщил брови Станиславский.

— Скочиляса. Антанаса Скочиляса, — не сморгнув, сказал я.

Станиславский закивал головой.

— Да, да, знаю...

Я внутренне улыбнулся.

Рассказ написан был в монологической форме, с общением со слушателем, о том, как и почему человек убил своего лучшего друга Юргиса. Прочел хорошо, лучше, пожалуй, чем на всех репетициях. Никакого волнения, внутренняя собранность, чувствую себя хорошо. Старик слушает внимательно, правда, один раз мне показалось, что он зевнул, не раскрывая рта.

Затем читаю «Скрипочку» Маяковского. Чуть-чуть заметная улыбка намечается на массивных губах театрального реформатора. Потом идет «дуэль Печорина с Грушницким», и на этом первое отделение оканчивается. Предлагает отдохнуть. Отказываемся. Расставляем мебель для «Ревизора». Ончик изображает Городничего, трактирного слугу и немножко Осипа. Играем сцену обеда и приход Городничего. Сыграли с подъемом.

После Хлестакова — отдых. Скромно присаживаемся, смотрим в пол. Несколько секунд молчания.

— А зачем вы в Студию хотите поступать? — спрашивает Константин Сергеевич.

Немножко наигрываю наивность.

— Собственно говоря... по-моему, это достаточно ясно, — отвечаю, искусственно паузя.

— А все-таки зачем?

Сдержанно, без излишнего восторга, чтоб не вызвать подозрения, говорю, что считаю Студию единственным в Союзе учебным заведением, где по-настоящему, а не формально, хотят воспитать настоящих актеров, и пошел, пошел... Есть ли у меня еще какая-нибудь специальность? Говорю, что есть.

Отдых окончен. Приступаем к этюду. Это наш коронный номер. Психологический этюд с перспективой, рафинированными деталями и сильными вспышками страстей. Длится 20 минут. Сыграли, остались довольны. Вообще показ прошел хорошо, пожалуй, как ни одна репетиция...

Наконец настает самая жуткая минута — оценка. Холодновато-бесстрастно Станиславский начинает говорить.

Громадные музыкальные пальцы волосатых рук переплетены. На коленях скатерть, снятая нами со стола во время этюда. Сидит глубоко, колени высоко подняты.

Он говорит, что приблизительно к 1 августа у них в Студии будет выясняться вопрос о труппе для будущего театра. Будет пересмотрен весь состав студии, чтобы выяснить пригодность студистов, как актерскую, так и чисто человеческую, к работе в будущем коллективе. По-видимому, кое-кого придется привлечь со стороны. И вот в этом случае он будет иметь меня в виду.

Мне сразу становится скучно, и в течение нескольких минут я даже не слышу его слов.

Конечно, рассчитывать на то, что после первых трех слов моего чтения старик, рыдая, бросится на мою грудь со словами: «Наконец! 75 лет я ждал тебя и вот ты пришел...» — было трудно, хотя где-то на самых задворках моей души теплилось нечто подобное. Но все-таки я этого не ожидал. По правде сказать, я думал, что меня все-таки примут, и в данную минуту был порядочно-таки разочарован.

Когда я очухался, Станиславский разговаривал с Ончиком об этюдах, о студии; Ончик пространно ему отвечал. Я сидел

молча, обо мне забыли. Вытирал платком пот. Нескольких зубов у старика не хватало, но остальные зубы были свои, а не вставные. Здоровый все-таки старик. Каждый день с 10 до 2 часов ночи работает над книгой.

Я пытаюсь вставить в разговор несколько умных фраз, чтоб продемонстрировать свою эрудицию, но должного впечатления это не производит.

Наконец, вдоволь наговорившись об опере «Чио-Чио-Сан» (ее как раз репетировали тогда в Студии), об упадке театрального искусства, вреде формализма и тому подобном, я задаю прямо вопрос: что он может сказать о моем показе?

Ах, о показе? Пожалуйста. Чтение мое ему больше понравилось, чем игра. (Вот неожиданность!) Много простоты, искренности, спокойствия, неторопливости, много действия (это хорошо!), хорошие взрывы. В отрывках же это не везде было. Маленькие «правдочки» (главным образом воображаемые предметы) не везде доведены до конца, поэтому не было импульса для рождения больших Правд. Поэтому Гоголь у вас не получился. Правда, Гоголь и Мольер, по его мнению, самые трудные авторы для сцены. Он очень долго мучился над «Мертвыми душами», пока ему не удалось добиться Гоголя. Нужно необычайно верить во все, что делаешь, — и тогда вы добьетесь того, чего хотите. Я не совсем понял, почему именно в Гоголе и Мольере нужно верить, а в остальных пьесах? . .

Вот когда вы перенесете то, что у вас есть в чтении, да маленькие «правдочки» доведете до конца — вот тогда вы будете Хлестаковым.

То же самое относительно этюда. Несмотря на наличие очень хороших мест, цельный этюд не получился, опять-таки из-за этих проклятых «правдочек».

Кроме того, предостерег меня — кое-где у меня начинает

намечаться, правда, только намечаться, дурной актерский штамп. Я этого, правда, в себе никогда не замечал, но если это так, это дурное предзнаменование — ведь я всего полгода в театре работаю. На этом беседа кончилась. Пауза в разговоре показала нам, что пора уже уходить. Мы попрощались, взаимно поблагодарили друг друга и удалились.

Где-то на дворе играли кремлевские куранты. Медленно зашагали по Леонтьевскому.

На этом обрываются записи в блокноте. Тогда мы с Ирнчиком убеждали друг друга, что это победа, причем победа настоящая, иначе «старик» не сказал бы, что с «моим» Хлестаковым можно выступать на любой русской сцене (а он действительно сказал, и почему этого нет в записках — ума не приложу), что есть в нем, правда, в моем Хлестакове, нечто «Михаил-Чеховское» (подумай, с кем сравнил-то!), а нужно больше «гоголевского», и что он, Ирнчик, по глазам Константина Сергеевича видал, что я ему понравился, что он всех и всегда критикует, что, наконец, не понравься я ему, он не слушал бы все до конца, прервал бы на полуслове и сказал бы «спасибо, больше не надо». А так как этого не произошло, то надо готовиться к осени, и победа, окончательная победа будет за нами.

С такими мыслями — в общем-то скорее грустными, чем веселыми, — я вернулся в Киев, к своим Мэшемам и Вронским.

В Студию я так и не попал. К осени Станиславского не было уже в живых (я оказался последним человеком в его жизни, которого он прослушивал), а на «мое» место приняли — «совсем несправедливо!» — негодовал возмущенный Ирнчик — дочь знаменитого русского певца.

Театральная моя карьера так и не состоялась. И все же день 12 июня в моей жизни остался одним из самых значительных, незабываемых — Великим днем.

ЛЕ КОРБЮЗЬЕ

Писем было всего три. Первые два датированы 1932 годом, последнее — открыточка с несколькими благодарностями за присылку фотокопий первых двух — 1963 годом.

Когда я вынул из почтового ящика первое из этих писем — было мне тогда лет двадцать с чем-то и учился я на архитектурном факультете — я не поверил своим глазам. На конверте, прочном заграничном конверте с великолепной маркой, изображающей то ли Реймский, то ли Шартрский собор, размашистым, не очень разборчивым почерком было написано «Monsieur Nekrasoff».

«Мсье Некрасоф»... Меня-то и по имени-отчеству еще не называли, а тут — мсье...

В этот день я стал знаменитостью. На меня указывали пальцами: «Он?» — «Он!» — «От самого?» — «От самого!»

Да, это было событие. Из ряда вон выходящее событие. Мы, жалкие второкурсники Киевского строительного института, получили письмо с Олимпа, от самого бога, кумира, родоначальника, законодателя, от самого Юпитера — от Ле Корбюзье... Это было почти то же, что получить письмо от Льва Толстого.

Что ж это все значило? Почему прославленный на весь мир архитектор ответил вдруг на письмо безвестных киевских студентов? И почему эти самые студенты отважились ему написать?

А произошло вот что.

В начале 1932 года объявлены были результаты конкурса на самое крупное в истории человечества здание — конкурса на проект Дворца Советов в Москве. Этого дня ждали не только участники конкурса. Его ждали все архитекторы. Ждали потому, что дело было не только в сложности и размерах самого сооружения, а потому, что подобного здания-памятника, памятника новой общественной системы, новой идее не знал еще мир. Конкурс был международный. В нем участвовали сотни архитекторов, в том числе и признанные во главе с Ле Корбюзье.

Мы, студенты, не сомневались — первую премию получит он. Его проект самый современный, самый совершенный, самый оригинальный, самый продуманный. В нем предусмотрено все, вплоть до тончайших деталей акустики, видимости, системы наиболее быстрой эвакуации зала («яблоко, брошенное в любом месте зала, должно само выкатиться на улицу»). Мы специально ездили на выставку, мы осмотрели все проекты. Решение было единодушным — Ле Корбюзье! Мы ни минуты не сомневались — жюри придет к тому же выводу.

Но жюри решило по-иному. Решение было ошеломляющим. Первые премии были присуждены — кому? — старому академику (подумать только — академику!!!) Жолтовскому, представившему на конкурс нечто среднее между замком и крепостью, мало кому известному тогда архитектору Иофану и совсем уж неизвестному американцу Гамильтону. Никто из наших кумиров — ни Ле Корбюзье, ни Гроппиус, ни Мендельсон, никто из «левых» не получил ничего!

Все самое современное было отвергнуто. Победителями оказались эпигоны, сторонники реставрации прошлого, из пыли веков были вытащены колонны, портики, всеми забытый Ренессанс. Никто ничего не понимал.

Вот тогда-то мы, небольшая группа студентов, возмущенная вопиющей несправедливостью, и написали письмо Ле Корбюзье. Мы, мол, с вами, мы вам никогда не изменим! На это письмо он нам и ответил. А потом написал еще одно с ответами на поставленные вопросы, о синтезе искусств, которым тогда все увлекались. Но об этом мне уже приходилось писать.

В декабре 1962 года, ровно через тридцать лет после того, как я с трепетом распечатал письмо с красивыми марками, мне посчастливилось встретиться в Париже с самим, живым Ле Корбюзье.

Об этой встрече я уже писал в путевых заметках «Месяц во Франции», но так как не всем, возможно, подвернулся под руку этот номер «Нового мира», я позволю себе привести этот отрывок полностью:

«. . .Мы с Андреем Вознесенским вошли в хмурый, неприветливый, замкнутый городскими стенами двор. Поднялись по такой же мрачной лестнице на второй этаж и попали в узенький коридор-прихожую. Кто-то, сидевший там, попросил нас минуточку подождать, вышел, потом вернулся и сказал:

— Пожалуйста, вас просят.

Не без трепета шагнули мы в еще более узкий коридорчик, ведший в большую мастерскую, но до нее не дошли, а свернули налево в крохотную с узким окном в углу комнату. Из-за стола навстречу нам поднялся Корбюзье.

(Точно так же двадцать пять лет тому назад мне было сказано: «Пожалуйста, вас просят», только не на французском, а на русском языке, в особняке Леонтьевского переулка. Но тогда я трепетал чуть побольше: я шел на экзамен к Станиславскому. Между прочим, сидя у Корбюзье, я вспомнил Станиславского — в них есть что-то общее: рост, большие красивые руки, галстук бантиком, но главное — какое-то неуловимое ощутимое величие, не имеющее никакого отношения к важности. Просто ты чув-

ствуешь, что перед тобой великий человек — великий даже при своих слабостях.)

У Корбюзье большое умное лицо с резкими складками возле рта, редкие, гладко зализанные назад седые волосы, очки в толстой оправе и, как я уже сказал, очень большие, с длинными сильными пальцами руки, на которые все время смотришь, — они чуть-чуть дрожат. Он немного глуховат, переспрашивает. Больше любит говорить, чем слушать. К нам отнесся с большим вниманием, но без особого любопытства.

После первых общих фраз я задал вопрос: помнит ли он нашу переписку тридцатых годов, переписку с молодыми советскими студентами, которые клялись ему в вечной любви и задали ему несколько вопросов, на которые он любезно и очень интересно ответил. Нет, он не помнит ничего. Я сказал, что, если это интересует его, я могу прислать фотокопии его писем. Он поблагодарил, но особого интереса опять-таки не проявил. Тогда я поинтересовался тем, как он смотрит сейчас на один из своих ответов, в котором он говорил, что его нисколько не интересует архитектура церквей, что надо заниматься архитектурой и планировкой городов, что это куда важнее, а теперь вот он создал капеллу Роншан, доминиканский монастырь Сент Мари де ла Турет? Чем это можно объяснить?

Он прямого ответа не дал, а стал говорить о том, что проблема современного города до сих пор не решена, что любой большой город не в силах выбраться из тупика, в который его загнал автотранспорт, и что цель его жизни — вывести город из этого тупика. Он говорил долго, интересно, не давая себя перебить, а если нам это где-то удавалось (мне все же хотелось вернуться к поставленному вопросу), ловко обходил наши сети и развивал свои собственные мысли. Он говорил о городах-сателлитах, о транспортных артериях, вливающихся в город, которые привлекли сейчас особое его внимание; о том, что фран-

цузские власти не идут ему навстречу в решении самых насущных проблем, что за свою жизнь он много уже настроил в разных концах света и меньше всего во Франции, второй его родине. (Корбюзье по происхождению швейцарец, настоящая его фамилия Жаннере.)

Я сказал о Советском Союзе, где идет сейчас грандиозное жилищное строительство и где его талант и знания могли бы очень пригодиться.

— Разве вас, архитектора больших масштабов, не интересует размах нашего строительства? У нас такие возможности... И мы уже не строим ненужных небоскребов, отказались от декоративной, эклектической архитектуры, мы ищем новое, современное.

— Это очень хорошо. Я желаю вам успеха. Но у меня свои планы. Хорошо бы хоть с ними справиться.

Я спросил: может, он хочет, чтоб ему выслали наши книги, журналы, монографии по архитектуре?

Он улыбнулся и указал на солидную стопку журналов, возвышавшуюся в углу комнаты, прямо на полу.

— Видите эту гору? Это я ежедневно получаю столько. И я их выкидываю. Я их не читаю. У меня нету времени. Я его экономлю. Каждую минуту экономлю.

Мы поняли это как намек и стали приподыматься со своих стульев. Но он посадил нас опять и опять стал говорить о проблеме городов. Сказал, что совсем недавно вышла его книга на эту тему и что мы можем ее приобрести в таком-то магазине. Он забыл адрес магазина, позвонил своей секретарше, и та принесла нам. (Нет, не книги, как втайне надеялись мы, а только адрес. На следующий день Корбюзье сам позвонил нашей переводчице и сообщил, что адрес оказался неправильным, вот новый... По-видимому, ему очень хотелось, чтоб эти книги у нас были, но пошел он почему-то по несколько осложненному пути.)

Разговор постепенно стал выдыхаться, возвращаться к одному и тому же — проблеме города, мы (шел уже второй час нашего визита), чтоб оживить его, попросили разрешения сняться вместе с ним.

Он категорически отказался.

— Многие хотят со мной сниматься... А потом говорят, что они мои друзья, ученики. Нет, я ни с кем теперь не фотографируюсь.

Мы с Вознесенским смутились, попытались объяснить, что хотя мы и были когда-то архитекторами, но теперь работаем в другой области и выдавать себя за его учеников не будем.

— Нет, нет, — решительно сказал он. — Я ни с кем не фотографируюсь. Не надо. — И после краткой паузы добавил: — Вместо этого я вам лучше...

Он взял листок бумаги и быстро, тремя-четырьмя штрихами нарисовал «модюлор». Модюлор — это придуманные им архитектурные пропорции, связанные с пропорциями человеческого тела. Нечто вроде золотого сечения. Графически это фигура человека, пересеченная на разных уровнях горизонтальными линиями, членящими фигуру человека на определенные взаимозависимые отрезки.

Он нарисовал человечка, подписался своим знаменитым «LC» и преподнес мне. Потом хитро взглянул на Андрея Вознесенского и вместо человечка нарисовал орангутанга. Андрей торжествующе посмотрел на меня — обскакал!

Перед уходом Корбюзье завел нас в свою мастерскую. В ней работало человек десять молодых архитекторов, но к ним он нас не подвел, а подвел к большой ученической черной доске, разрисованной мелом, и сказал:

— Вот тут все начинается...

Мы с уважением посмотрели на доску и стали раскланиваться. Рука у него крепкая, совсем не стариковская. На прощание

он вдруг потрепал меня за чуб и сказал с той же лукавой улыбкой, какая у него появилась, когда он нарисовал орангутанга:

— Когда-то и у меня такие вот волосы были, а теперь... — Он рассмеялся и, слегка подталкивая нас в спину, проводил до выхода. — Спасибо, что пришли. Не обижайтесь на меня. Мне еще так много надо успеть сделать».

За день до нашего визита к Ле Корбюзье мы побывали на выставке его работ. На ней представлены были не только его архитектурные проекты со множеством эскизов, набросков, зарисовок, но и его живопись, скульптура, ковры, которыми он последнее время очень увлекался (по-французски это называется «tapisserie»).

В нескольких залах Музея нового искусства очень подробно и детально разворачивался весь жизненный путь ищущего, сложного, часто противоречивого мастера. Впрочем, я сейчас не уверен, что слово «противоречивый» подходит к нему. То, что за сорок лет он как-то изменился и от умственно-рациональных построек первых лет перешел к архитектуре эмоциональной, вовсе не говорит о противоречии. Это скорее развитие, углубление. В молодости, увлеченный эстетикой техники, он говорил: «Дом — это машина для жилья», в зрелые годы несколько изменил эту формулу: «Дом — это ларец жизни, машина счастья». Под конец жизни он сказал: «В своей работе я ищу и то, в чем сегодняшние люди больше всего нуждаются, — молчания и мира». Думаю, именно поэтому и появилась капелла Роншан. Ее автор, убежденный агностик, искал в ней не места для торжественных богослужений, а места, где человек может остаться с самим собой, наедине со своими мыслями. Одиноко стоящая на лесистом холме у предгорий Вогез, четко рисующаяся своим белым силуэтом на фоне неба, лишенная каких-либо украше-

ний — только лучи солнца прорываются сквозь цветные витражи вовнутрь, — капелла эта мне видится не как алтарь божеству, а как храм сосредоточенности и размышления. Такой ее и задумал, насколько я понимаю, Ле Корбюзье — человек, которому дорого было все человеческое, который любил жизнь и по-своему пытался ее улучшить.

Он начал с отрицания, очищения, оголения, выявления основной формы, с воспевания геометрии (куб, шар, квадрат, голая плоскость!), кончил же как будто с отрицания того, с чего начал. Но это не так, это только «как будто». Созданная им в двадцатых годах рациональная, опирающаяся на технику, логически оправданная архитектура была пусть талантливой, пусть даже гениальной, но все же схемой. Схемой чего-то основного, главного — того, что он искал всю жизнь. И, думается мне, к концу жизни он нащупал то, что искал. А искал он красоту. Красоту, рожденную не только рацио, но и эмоцио, красоту, которая заставляет тебя говорить шепотом, молчать, иногда плакать. Когда ты стоишь перед настоящим произведением искусства, тебе не хочется кричать, размахивать руками, тебе хочется молча впитывать в себя прекрасное. К этому прекрасному в мире, который до сегодняшнего дня сотрясается от ужасов и грохота войны, и призывал Ле Корбюзье.

27 августа 1965 года в небольшом местечке Рокедрюн близ Ментоны на берегу Средиземного моря купальщики вытащили на берег бездыханное тело старика. Они не знали, кем он был, но ежедневно видели его спускающимся к морю. И прозвали его «l'ancien» — древний, старинный, бывший. Это был Ле Корбюзье. Сердечный приступ во время купания оборвал его жизнь.

Через два дня в знаменитом «Cour carrée» — Квадратном дворе Лувра — парижане, ученики прощались с покойным. Был

выстроен почетный караул республиканских гвардейцев, прощальное слово произнес министр культуры Андрэ Мальро, он с горечью сказал: «У вашего гроба сейчас вся Франция, которая часто вас игнорировала, но которую вы всю жизнь носили в своем сердце». Потом под звуки бетховенского «Марша на смерть героя» возле гроба были поставлены две урны — одна с землей Акрополя от Греции, другая со священной водой Ганга из Индии, и катафалк тронулся...

Ле Корбюзье, когда он умер, было 78 лет. Возраст преклонный, но ни стариком, ни тем более «древним» и «бывшим» он никогда не был. Он был полон замыслов и планов. В его последнем (пока еще не осуществленном) проекте больничного городка в Венеции видно, с каким размахом и в то же время с каким художественным тактом, стремясь не нарушать сложившийся облик города, подошел он к решению нелегкой задачи. А сколько начатых и незаконченных проектов осталось на столах его мастерской на улице Севр, сколько учеников и последователей оставил он после себя... «Мне надо еще успеть так много сделать», — сказал он нам на прощание. Думаю, проживи он еще десять — пятнадцать лет, он сказал бы тоже самое...

Да, у Ле Корбюзье была нелегкая жизнь. Но, может быть, именно потому, что вся жизнь его была борьбой за собственные идеи, он стал архитектором № 1, Леонардо да Винчи современности, как сказал о нем недавно умерший Ээро Сааринен, последователь Корбюзье, один из известнейших архитекторов мира. Заметки эти мне хочется закончить словами большого друга Ле Корбюзье, работавшего с ним вместе на строительстве здания Центросоюза и не надолго его пережившего, архитектора Н. Колли:

«Наследство, оставленное Ле Корбюзье, поистине огромно и принадлежит всему культурному человечеству. Он внес огромный, ни с чем не сравнимый вклад в сокровищницу мирового зодчества, и долг всех нас, всего культурного человечества —

беречь и достойно охранять это архитектурное достояние, как величайшее сокровище культуры нашего времени».

Одним из этих сокровищ владеем и мы. Здание Центросоюза (ныне ЦСУ СССР) на улице Кирова в Москве безусловно является памятником архитектуры мирового значения, оно должно быть взято под охрану государства. Его нельзя искажать и перестраивать, как это уже было сделано — первый, свободный этаж «заполнили» чем-то наподобие складов, — оно должно быть таким, каким его задумал автор, — ясным, простым, умным. Этим мы воздадим должное одному из величайших архитекторов двадцатого столетия, а может быть, и не только двадцатого.

ВАС. ГРОССМАН

В Сталинграде не часто, но появлялись все же журналисты и писатели. Об одном из них, широкому читателю мало известном, я написал небольшой рассказ «Новичок». Но это был, так сказать, случай экстраординарный, обычно же «люди пера» появлялись ненадолго и не всегда спускались ниже штаба армии.

Василий Семенович Гроссман бывал не только в дивизиях, но и в полках, на передовой.

Был он и в нашем полку. Когда точно — не помню, во всяком случае, после начала нашего наступления, так как ко времени его посещения мы уже читали и «Глазами Чехова» и «Направление главного удара».

К нам он попал не только потому, что мы сидели вплотную к знаменитым «бакам» на Мамаевом кургане, самом «западном» участке Сталинградского фронта, но еще и потому, что его племянник, киевлянин Беньяш, стройный, черно-курчавый, отчаянно-веселый и весело-отчаянный парень, любимец всего полка, был командиром нашего первого батальона. Но встретиться с ним Гроссману не удалось — Беньяш погиб еще до начала наступления, погиб по-глупому, то ли от шальной пули, то ли от случайного осколка в тот редкий час, когда на фронте была тишина.

Мне в день, вернее, ночь приезда Гроссмана не повезло,

не удалось встретиться с ним, хотя очень хотелось — газеты с его, как и Эренбурга, корреспонденциями зачитывались у нас до дыр. Именно в эту ночь меня направили поверяющим на передовую, и когда я вернулся, его уже не было — ушел в соседний полк.

Встретился я с Василием Семеновичем уже после войны в тихом, еще не популярном, не всесоюзном Коктебеле, когда в Доме писателей жило не 200—300 человек, как теперь, а 30—40, не больше.

Сначала мы просто здоровались, как отдыхающие в одном доме, — всем своим угрюмо-молчаливым обликом он не располагал к близкому общению. Гулял один, купался на самом краю широкого и длинного тогда еще (теперь его почти целиком смыло морем), знаменитого своими сердоликами коктебельского пляжа. Был нелюдим и одинок. Я смотрел на него издали, с уважением, но подойти не решался.

Но как-то ночью, когда весь Коктебель затих и только отчаянно звенели цикады, я возвращался откуда-то домой и на нижней веранде большого серого дома, где мы тогда жили, увидел тихо покуривающего в кожаном кресле человека.

Проходя мимо — я узнал в человеке Гроссмана, — я сказал что-то вроде «не спится?» или «покуриваем?». Он что-то ответил, то ли про звезды, то ли про цикад, и тут завязался вдруг разговор. Просидели мы так час, полтора. Ну конечно, война, Сталинград, Треблинка. С этого ночного разговора и началась дружба, если можно назвать так отношения людей, живущих в разных городах и встречавшихся не очень-то часто.

Но в то коктебельское лето мы встречались ежедневно и говорили уже не только о Сталинграде и немецких концлагерях. Ничего угрюмого в Василии Семеновиче не оказалось, только глаза за увеличивающими стеклами очков бывали часто грустными и задумчивыми. Но они умели и улыбаться, мягко и иро-

нически. Он любил и понимал юмор, качество, без которого трудно и невесело жить.

Как-то кем-то затеяна была экскурсия в Судак на знаменитый завод шампанских вин «Новый свет». Там, мол, эвакуированные в свое время испанские дети, ставшие теперь взрослыми, делают шампанское по известному только им «секрету». Как и откуда они в свои пять—семь лет, когда их вывезли из Испании, умудрились узнать этот «секрет» — никому ведомо не было, тем не менее все охотники до шампанского сели в автобус и покатили в Судак. Поехали и мы с Василием Семеновичем.

Приехали. Завод как завод. Под землей подвалы. В подвалах бочки. В бочках шампанское. Насчет испанцев ничего сказать не могу, что-то не приметил. Насчет шампанского же... По дороге к подвалам, проходя мимо какой-то «забегаловки», Василий Семенович замедлил шаги и, слегка улыбнувшись глазами, сказал негромко:

— А что, если мы до этого самого шампанского...

До подвалов мы так и не дошли. Потом нам говорили, что там было очень интересно.

— Между прочим, шампанское — отнюдь не мой напиток, — признался Василий Семенович.

— И не мой, — согласился я, и мы заговорили о непревзойденных качествах польского самогона «бимбера».

Василий Семенович, как всякий застенчивый человек (а он был застенчив, то есть боялся казаться навязчивым, назойливым), после рюмочки несколько развязывался и не боялся уже «заговорить» собеседника — боязнь, кстати, более чем необоснованная.

Говорил он всегда негромко, не любил фраз и превосходных степеней, как ни странно, но не очень любил вспоминать прошлое — удел большинства людей среднего возраста и много повидавших на своем веку (только в первую ночь мы

вспоминали о Сталинграде), — в вопросах к собеседнику был сдержан и деликатен. Не любил сановников и, говоря о них, не был ни сдержан, ни деликатен. Лютой ненавистью ненавидел ложь, фальшь, лицемерие. На собственном горбу познав силу критики и все ее последствия, он никогда не жаловался, хотя и негодовал и продолжал верить в то, во что верил.

Я уже говорил, что встречались мы с ним не часто — после того лета отдыхать вместе нам не пришлось, во время моих поездок в Москву встретимся раз, другой, не больше, поговорим по душам, и все. В Киев он не приезжал. Потом заболел, лег в больницу, и больше я его не видел.

Я часто задаю себе вопрос: что нас сблизило с Василием Семеновичем и что дает мне право называть его своим другом?

Как-то мы с ним заговорили о «писательстве» — кстати, ни он, ни я этой темой особенно не злоупотребляли. Но тут, заговорив о какой-то книге, написанной человеком бесталанным, но занимающим посты и изданной стотысячным тиражом, Василий Семенович сказал вдруг:

— Вот говорят — талант, талант... А что это такое? Кто-то, кажется Матисс, сказал, что талант — это труд. Так ли это? Ведь то, что мы с вами только что прочли, — это безусловно «труд». Написать двадцать четыре печатных листа, а он написал, я это знаю, другой вопрос, как над ними мучился редактор, но это труд, на это все-таки надо время потратить. Потом сверять перепечатанное, читать верстку. О содержании не говорю, это другой вопрос, я говорю, так сказать, о внешней стороне, о технике, о том, что дает возможность таким людям... Впрочем, простите, я, кажется, начинаю уже говорить банальности, пошлости...

— Давайте и поговорим о пошлости. Ведь этот N, написавший книгу, и есть пошляк!

— Стопроцентный притом... От слова «пошло́». И пошло, и пошло, и пошло. И от него кругами — пойдет, пойдет, пойдет...

А он на этом набивает руку, становится профессионалом, ну и т. д.

Профессионал? Я насторожился. А что такое профессионал, профессионализм? Необходим ли он в искусстве? В писательском, во всяком случае. Не мешает ли, не рождается ли от графомании, обогащающейся потом техникой, знанием приемов, вкусов, требований?

Все это я сказал Василию Семеновичу и как пример привел высказывания одного очень хорошего человека и писателя, которого я тоже осмеливаюсь считать своим другом, несмотря на еще большую разницу в летах, чем с Василием Семеновичем.

Так вот, этот убеленный сединами и опытом человек, написавший много хороших книг, сказал мне как-то:

— А знаете, почему нам не скучно друг с другом? Не потому, что мы оба — вы мне, а я вам — можем поведать то, чего другой не знал или не видел. Нет, не поэтому. Просто — только никому не говорите о сказанном вам одним видавшим виды стариком, — просто потому, что мы с вами в литературе не профессионалы, а любители. Да, да, хотя и живем как профессионалы, гонорарием интересуемся.

И мой собеседник заговорил о профессионализме. Это, может быть, и неплохо, даже нужно, возможно даже, он и сам хотел бы быть профессионалом... Хотя бывает и так, что писатель пишет, каждый день пишет, но все кровавым потом. Не чернилами, не карандашом, не кровью сердца, а именно кровавым потом!.. Не могу я так. «Ни дня без строчки» — не мой, не наш с вами девиз. Все сказанное, конечно, ересь, но что поделаешь, оба мы с вами еретики.

Василий Семенович рассмеялся, а я поспешил добавить, что разделяю точку зрения своего друга-еретика. Не отваживаюсь, мол, осуждать ни то, ни другое — ни «профессионализм», ни «дилетантизм» — просто второе мне, по-видимому, ближе. «Ни

дня без строчки» — это, возможно, гимнастика, тренаж, если хотите, утренняя зарядка, но я все же за то, чтоб писать, когда хочется или когда об этом нельзя не написать.

— Со вторым согласен, — сказал серьезно Василий Семенович, — а вот первое — «хочется» — тут меня одолевает некое сомнение. А если «не хочется», а надо, нельзя не написать? Тут-то и приходит, очевидно, на выручку профессионализм или, если это слово вас отпугивает, потребность писать. Я — за потребность и за то, чтоб она была всегда.

— А если она мешает другой потребности? Вот у меня сейчас потребность заплыть подальше в море, а не писать. Или забраться на Сюрю-Кая? Может, я первоклассный альпинист и покорю когда-нибудь Эверест? Что такое профессия и нужно ли иметь обязательно одну? Мешала ли Чехову-писателю его другая профессия — врача? Или помогала? И какое из этих призваний он, Чехов, считал более важным? А кем был Гарин — в первую очередь инженером-строителем или писателем? А Бородин? Крупнейшим химиком или автором «Князя Игоря»?

— Я, между прочим, — перебил меня, понизив почему-то голос, Василий Семенович, — тоже вот химик по образованию. Правда, не слишком крупный. А вы архитектор и в театре, если не ошибаюсь, лицедействовали...

— Было такое. И не начнись война, строил бы сейчас дома или изображал бы негодяев на сцене — мне почему-то всегда они доставались. Но война помешала...

— А может, помогла?

— В чем? Стать сапером-профессионалом?

— Ай-ай-ай, не к лицу вам кокетничать, — Василий Семенович похлопал меня по плечу. — Кстати, нескромный вопрос, не люблю, когда мне его задают, — вы над чем-нибудь работаете сейчас?

— Да, работаю, — я корпел тогда над «Родным городом».

— Ну вот и работайте. А потом в море или на Эверест... И поменьше думайте о Бородине и Гарине.

На этой, столь несвойственной Василию Семеновичу поучительной фразе и закончился наш запомнившийся мне разговор о «профессионализме», из которого я понял, что он определенно «за»...

И вот возник у меня теперь, когда Василия Семеновича уже нет в живых, вопрос: почему же нам с ним — повторяю слова «видавшего виды еретика» — не было скучно друг с другом при столь разном отношении к своей работе? Как ответил бы на это Василий Семенович, не знаю и никогда не узнаю. Я же со своей стороны могу сказать, мне с Василием Семеновичем было «не скучно» просто потому, что не может быть скучно с человеком, в котором покоряли прежде всего не только ум его и талант, не только умение работать и по собственному желанию вызывать «хотение», но и его невероятно серьезное отношение к труду, к литературе. И добавлю — такое же серьезное отношение к своему, — ну, как бы это сказать, — к своему, назовем, поведению в литературе, к каждому сказанному им слову. И в этом не было ни грана высокомерия, ни грана зазнайства — писать он считал своим долгом и долг этот выполнил до конца.

Когда я беру в руки карандаш и начинаю водить им по бумаге, я часто задаю себе вопрос: «А как отнесся бы к этому месту Василий Семенович?» И если, на мой взгляд, неодобрительно — вычеркиваю безжалостно.

Чтоб закончить о «профессионализме». Со дня нашей беседы прошло лет пятнадцать, если не больше. Многое за это время переосмыслилось. И на «профессионализм» я смотрю чуть-чуть иначе. Он, безусловно, необходим, но, если можно так выразиться, не надо им увлекаться. К знаменитому «ни дня без строчки» я добавил бы: «Но не делай ни из дня, ни из строчки культа». Культ — вещь опасная.

ПАУСТОВСКИЙ

Получилось так, что пути наши с Паустовским до определенного времени нигде и никогда не пересекались. В московской суете, для провинциала особенно утомительной и бестолковой, никак не выкраивалось время познакомиться (да и как это сделать, позвонить и, как в Киеве говорят: «Здрасьте, я ваша тетя»?), а когда выкраивалось (ну, вот сегодня, позвоню и скажу), оказывалось, он в Тарусе или в Ялте. Когда же мы с матерью приезжали в Ялту (обычно в середине мая), выяснялось, что Константин Георгиевич всю зиму прожил в этой вот комнате и только неделю, как уехал. Не везло.

И вот в один прекрасный вечер затрезвонил по-междугородному телефон. Москва. Говорит Паустовский. Слегка балдею... Спрашивает, не собираюсь ли в Москву. Нет, а что? Да ничего, просто захотелось вдруг позвонить и сказать, что если буду в Москве, чтоб обязательно зашел к нему, Паустовскому. Надо же ж в конце концов познакомиться.

Надо. Я просто-напросто взял билет и полетел в Москву. Знакомиться с Паустовским. Других дел у меня не было.

Я как огня боюсь искусственных знакомств. Мы с моим другом детства Яковом Михайловичем Светом любим вспоминать, как бездарно происходило наше знакомство. Его папа — интел-

лигент в пенсне, с бородкой — пришел как-то к нам. Дверь открыл ему я.

— Здесь живет доктор Некрасова?

— Да, но ее нет дома.

— А вы ее сын?

— Да.

— Тогда я, собственно, к вам.

— ?

— Мы недавно только приехали в Киев. Я с женой и наш сын Яся, ваш ровесник. Вам ведь пятнадцать?

— Пятнадцать.

— Ну вот и прекрасно. У Ясика пока еще нет здесь знакомых, и он очень скучает. Я обратился к швейцару Герасиму за советом, с кем из детей какой-нибудь интеллигентной семьи в этом доме я мог бы познакомить своего Ясика. Герасим направил меня к вам.

Этого еще недоставало... Дитя из интеллигентной семьи...

Через несколько минут мы с Ясей — два «интеллигентных» мальчика в коротких еще штанишках — стояли на нашем балконе и вяло задавали друг другу вымученные вопросы. «Где вы учитесь? В какой группе? Нравится ли вам Киев? А в Крыму бывали, я как раз сейчас из Крыма... Плаваете ли вы?»

Оба мы друг другу не понравились. Беседа продолжалась не более пяти—семи минут. Больше он не приходил, и я о нем забыл, пока как-то недели через три он не прибежал ко мне за угольником (его куда-то провалился, весь дом обшарил...), и с этого-то угольника и началась наша дружба — не разлей водой. С ним-то мы издавали газету «Радио» 1979 года (уже не за горами!), воевали с англо-амами (англо-американской коалицией) в Аляске, находили неразложившиеся тела доисторического человека в раскопках киевского Макарьевского спуска, писали детективные подвалы с продолжением, высаживались на Марс и,

несмотря на посредничество папы и Герасима, дружим до сих пор.

Сидя в самолете и мысленно представляя себе свое появление у Паустовского, я невольно вспомнил свое знакомство с Ясей. «Над чем вы сейчас работаете, Константин Георгиевич?» — «А вы?» — «А почему вы не приезжаете в Киев, ведь Киев для вас. . .» — «Да вот все собираюсь. . .»

Но этого не произошло. Произошло другое. Стол, вино, люди, много людей, тосты, литературные разговоры, сбивчивые споры. Константин Георгиевич, несколько ошарашенный, сидел на краю стола и, приветливо, утомленно улыбаясь всем, пил чай. Я, несколько выпив, громко и упрямо доказывал что-то кому-то из молодых, тоже подвыпившему и тоже громко и упрямо не соглашавшемуся. И так до часу ночи. Шум, гам и ни одного толкового слова друг другу. Так и произошло наше знакомство, захиревшее, не успев распуститься. «Будете в Москве, обязательно заходите. . . Вот тогда и поговорим. . .» — «А вы к нам, в Киев. . .» — «Конечно, конечно, теперь есть предлог. . .»

Но больше я к Паустовскому не заходил, и в Киев, несмотря на предлог, Константин Георгиевич тоже не приезжал.

«Угольником» оказалась Франция.

До поездки туда — было это в конце 1962 года — Паустовский перенес инфаркт, и все мы несколько тревожились за него. Поехали с ним его жена с дочерью Галей.

Во Франции Паустовский был впервые, языка не знал, поэтому я, во Франции все же бывавший и по-французски немного лопотавший, мог быть ему в чем-нибудь где-нибудь полезен. В многолюдном, шумном Париже встречались мы, правда, преимущественно на всяких «мероприятиях» (встречах, приемах, коктейлях) или вечером, в номере, уже без задних ног. Сблизились, поговорили без суеты, тостов и гостей и, как мне кажется,

полюбили мы друг друга (я во всяком случае) во время путешествия по Провансу.

По складу своего характера Константин Георгиевич был человеком, для которого места, связанные с чьим-нибудь близким ему именем, имели определенное значение. Поэтому ему очень хотелось побывать в Нормандии, в родных местах Флобера. Но мы, в частности я и Галя, упоенные, но еще не отравленные «ядом» Парижа, не хотели с ним расставаться и подговорили нашего шофера расписать в самых мрачных красках всю сложность и даже опасность езды зимой по обледеневшим нормандским дорогам. Коварный план удался: Нормандия была отставлена, Париж продолжен, а вместо севера мы поехали на юг — Авиньон, Арль, восточная часть Средиземноморья (рыбацкие поселки Сент-Мари-де-ла-Мер и Гро-дю-Руа). Насколько я понимаю, Константин Георгиевич огорчен этим маршрутом не был.

Несмотря на преклонный возраст и перенесенную болезнь, Паустовский был неутомим. Часами бродил среди тесно прижавшихся друг к другу средневековых домов «папского» Авиньона, карабкался по извилистым, в древних булыжниках, крутым подъемам «кардинального» Вильнёв-лез-Авиньон, скользил, но не сдавался на мокрых ступеньках полуразрушенных крепостных башен. Все хотел видеть, ничего не пропускал и ни от кого не отставал. Никогда ничего не записывал, не фотографировал (присяжным фотографом был я), не заглядывал в путеводитель — просто наслаждался. Красотой, древностью, тишиной. Как настоящий художник он воспринимал красоту как красоту, ему дороже было непосредственное восприятие увиденного, чем знание того, кто, когда и по чьему велению поставил этот замок или какой король и с кем изменял королеве на этой кровати с балдахином и вечными амурчиками.

Вдоволь находившись и насмотревшись, утомленные и пере-

полненные увиденным, к тому же голодные, устраивались в какой-нибудь таверне из наименее шикарных.

И вот тут-то Константин Георгиевич и начинал рассказывать. Рассказывать он умел. И вспоминать тоже умел. А о чем вспоминать — хватало. О литературе, как таковой, о том, как надо писать и как плохо, мол, пишут сейчас, в противоположность людям его положения и возраста, не говорил никогда. А вот о дореволюционном или первых дней революции Киеве или Москве рассказывал с увлечением, с обилием очаровательных деталей, которые мне всегда очень дороги. Он хорошо помнил то, что и я еще немного захватил. Памятник Николаю I против университета, который я помню уже поверженным, — импозантная фигура царя долго лежала у подножья пьедестала, и мы, мальчишки, до блеска отполировали его бока своими штанами. И бронзового Столыпина перед городской думой «от благодарного Юго-Западного края» — перебазировавшись с Крещатика на Кузнечную, прославленный министр долго еще, несколько лет, выглядывал из-за забора маленького домика с садом, где жили наши знакомые. Помнил гипсовую княгиню Ольгу, графа Бобринского в римской тоге, где высится сейчас памятник Щорсу, и многое-многое другое. Улицы все он называл по-старому, начала века. Столыпинскую улицу называл Мало-Владимирской (потом она стала Гершуни, Ладо Кецховели, теперь Чкалова), Большую Подвальную — Ярославовым валом (чудесное это название так и не вернулось после многократных переименований — Ворошилова, Полупанова, теперь Большая Подвальная).

В нынешнем, послевоенном Киеве, с новым, переполненным «излишествами» Крещатиком, Паустовский не был. Многое его бы обрадовало — парки и сады буйно разрослись, позеленел, обретя бульвар, и сам Крещатик, стройными (заменившими старые, еще при Николае I посаженные и от старости потерявшие

форму) пирамидальными тополями омолодился бывший Бибиковский бульвар, ныне Тараса Шевченко. Новые массивы, когда-то деревушки за пределами города, новые дома, мосты через Днепр, озаренные вечером таинственным светом, далеко видные из заднепровья, сияющие золотыми куполами Лавра, Выдубецкий монастырь, Андреевская церковь... Но кое-что и огорчило бы. Не порадовала бы двенадцатиэтажная громадина, в самом центре города, против Оперного театра, задавившая собою всю Владимирскую улицу — центральную, красивую, зеленую, четырех-, пятиэтажную, очень киевскую, чудом сохранившуюся после немцев. (Не знаю, как москвичей, но меня Новый Арбат, Калининский проспект, просто пугает — он раздавил окрестные уютные старомосковские переулочки, лавиной обрушился на Спасопесковский «Кружок», поленовский «Московский дворик», проглотил Собачью площадку; пугает и гостиница «Россия», ставшая теперь фоном Василию Блаженному вместо необозримого неба, особенно незабываемого в часы заката; пугает и новый «Националь» на улице Горького... Вот так же происходит и с Владимирской.) Но в общем-то Киев стал, конечно, лучше и красивее довоенного, хотя людей и машин стало слишком много, особенно летом, особенно на Крещатике. Но, приехал бы в Киев Константин Георгиевич, мы гуляли бы с ним не по Крещатику и в Пассаж (торговый пуп Киева «Детский мир», толпы, очереди, лотки, «выбросили кофточки») мы заходили бы только, чтоб пройти ко мне на вечерний чай с самоваром, правда, современным, электрическим...

Но самое интересное в рассказах Паустовского — это, безусловно, были люди. Видал он их, знаменитых и не знаменитых, за свою долгую жизнь великое множество и в каждом умел найти что-то свое, особенное. Может быть, кое-что он даже и придумывал, присочинял, но придумывал это художник, человек талантливый, поэтому получалось хорошо и интересно.

К слову сказать, я недавно познакомился и даже сдружился с одним очень молодым поэтом. Талантливым. И не только в поэзии. В силу семейных обстоятельств он в свои двадцать лет побывал и в Сибири, и на Дальнем Востоке, и в Монголии, и в Средней Азии (где научился арабскому), и в Москве, теперь в Киеве. И обо всем — охоте на медведей, старообрядцах, золотоискателях, студенческой жизни в новосибирском Академгородке — рассказывает так увлекательно, что хочется все бросить, купить билет и двинуть куда-нибудь в Душанбе или на монгольскую границу. Кроме того, он перевел на русский Омара Хайяма и получил даже премию на каком-то конкурсе. В бумагах кого-то из декабристов в Иркутске раскопал тексты неизвестного французского поэта шестнадцатого века Поля де Нека, не упоминаемого ни в одном из французских словарей. Раскопал и перевел. Превосходнейшие стихи (и перевод тоже).

Ах, какой поэт, какой поэт! И ведь шестнадцатый век! И почему никто не знает? И вот как-то выяснилось почему. Да потому, что мой юный друг всю эту историю от начала до конца сочинил. И стихи сочинил. И то и другое — и стихи и рассказ о них — были талантливы. И я простил ему его милую мистификацию.

Многие знавшие Паустовского вспоминают о нем как об интересном собеседнике — «до глубокой ночи сидели и слушали его рассказы...». По чести признаться, я таких собеседников, мастеров рассказа (обычно сработанного заранее), боюсь смертельно. Боюсь монологов, особенно в устах людей заслуженных, уважаемых, которых не перебьешь... Константин Георгиевич не был врагом монологов (кстати, не только своих, но и чужих), но не перебивал я его не только из уважения, а просто потому, что было интересно.

Меня огорчало другое, что иногда случалось. Начнет он,

например, рассказывать, как всегда не торопясь, с милыми своими деталями:

— Как сейчас помню. Было это в Одессе. В тысяча девятьсот... девятьсот... девятьсот семнадцатом... нет, девятьсот восемнадцатом году, уже советская власть была... Сидим мы на Приморском бульваре, тогда его называли еще по-старому Николаевским, а потом он стал Фельдмана... Сидим у памятника Пушкину — я, Бабель, Катаев...

И тут вдруг (где-нибудь в Арле, в симпатичном ресторанчике, недалеко от римской арены) жена Паустовского Татьяна Алексеевна, человек бесконечно и по-настоящему преданный и любящий Константина Георгиевича, но, очевидно, слышавшая эту историю не один раз (а я ни разу), к тому же основательно проголодавшаяся (мы с Константином Георгиевичем, кстати, тоже), перебивает:

— Костя, Костя! Да подзови же ты ее, она там уже с каким-то красавчиком флиртует... Я тебе говорю, Костя...

«Костя» или я подзываем «ее» (флиртовала она не более сорока секунд), на столе появляется нечто дымящееся и сверхъестественно вкусное, но нить рассказа прервана, Константин Георгиевич никнет, и я так и не узнаю, чем занимались у памятника Пушкину Бабель, Паустовский и Катаев. В этих случаях я всегда очень ему сочувствовал — со мной часто случается такое же. Начнешь что-нибудь рассказывать «к слову», так сказать, тебя перебьют, а потом уже и не получается «к слову».

Но, когда мы бывали вдвоем, я его не перебивал — мне было интереснее слушать, чем говорить.

И еще мне нравилось в Константине Георгиевиче какое-то его мальчишество.

— Давайте, давайте снимемся на фоне этих рогов! — говорил он в пустующем зимой тореадорском трактирчике, от пола до потолка увешанном «рогами и копытами».

— Дайте Ольге Леонидовне ваш аппарат, и пускай она нас снимет, — и с детской радостью принимал позу под видавшими виды и матадорские зады рогами.

В нем не было той ложной скромности — «ах, пожалуйста, уберите эту штуку, ненавижу, когда меня снимают». Поэтому у меня сохранилось много фотографий Константина Георгиевича — авиньонских, арльских, в замке Монмажур, заглядывающим в колодец, среди раскопок древнеримского Гланума. И среди них особенно мне дорогая, где мы сидим с ним вдвоем на каком-то каменном парапете форта Сент-Андрэ, а за нашей спиной раскинулся древний Авиньон с папским дворцом и колючими колокольнями соборов.

В Марселе я малость повздорил с Татьяной Алексеевной (виноват был я), и весь обратный путь в Париж мы провели в молчании, очень всех нас тяготившем.

С тех пор прошли уже годы. О нелепой этой «ссоре» вскоре, конечно, забыли, и в последующие годы в Ялте (теперь мы уже начали «совпадать») наши «контакты» успешно развивались. Мучавшая его астма и прочие хвори не позволяли ему гулять, но как приятно было заглянуть к нему, в его всегда заставленную цветами и фруктами комнатку или посидеть в плетеных креслах на большой террасе, увитой виноградом.

В последнее лето, когда мы отдыхали вместе (в 1966 году), группа ленинградских киношников снимала фильм о Паустовском. Промелькнул там и я, в день его рождения, среди поздравлявших его друзей и поклонников. Фильма этого я не видал, зато однажды «услышал». Сидел как-то на балконе и что-то писал. Тишина, солнце, вдали море, птички чирикают. В другом кресле под зонтиком мама читает французский роман. И вдруг тишину нарушает голос Паустовского. Громкий, очень даже громкий и невероятно назойливый, что совсем несвойственно было его манере разговора. Длилось это довольно дол-

го, потом в беседу вступил кто-то другой, с голосом еще более противным. Я не выдержал и спустился вниз, посмотреть, что там, в саду, происходит. Оказывается, это киношники пробовали свою фонограмму, примостившись на скамеечке, в парке, а второй, особенно противный и мешавший мне работать голос, оказался ни больше ни меньше, как моим собственным, поздравляющим...

После того лета я больше Константина Георгиевича не видел. Как память остались книги, болгарская иконка, подаренная им маме ко дню ее рождения, и фотография — громадный букет роз, он и я на террасе в день его 74-летия — с трогательной надписью, заканчивающейся словами: «До встречи в Толедо. На корриде!!»

Но ни в Толедо, ни в другом каком-либо месте нам встретиться уже не довелось.

ЖАК СТЕФЕН АЛЕКСИС

Гаити... Что знаем мы о Гаити?

Спроси меня кто-нибудь об этом, совсем недавно еще, года два назад, и я ответил бы, что это остров где-то неподалеку от Кубы, что он разделен на две части: одна из них — Доминиканская Республика (там был Трухильо), другая — Гаити (там тоже диктатор Дювалье, «папа Док»). Кроме того, Гаити — первое в мире негритянское государство, и во времена Наполеона там был «Черный консул», о котором когда-то в детстве читал увлекательную книгу. Вот, пожалуй, и все, что я мог бы сказать. И уж, во всяком случае, меньше всего мог предположить, что мне когда-нибудь суждено будет сдружиться с гаитянином.

А вот случилось. И не просто с гаитянином, а даже с правнуком императора Жака I. И я очень горжусь этой дружбой.

Правнук императора — высокий, стройный, с удивительно живыми, веселыми, умными глазами — появился в мае пятьдесят девятого года в ялтинском Доме творчества и тут же покорил его обитателей. Звали его Жак Стефен Алексис.

Большинству из нас это имя тогда ничего не говорило. Мы знали только, что наш гость — писатель, активный борец за свободу своего народа, что в Советском Союзе он впервые: приехал на III съезд писателей. Только полтора года спустя появился

у нас перевод его романа «Добрый генерал Солнце». «Деревья-музыканты» — второй роман Жака Стефена Алексиса, вышедший в Париже в 1957 году, напечатан в № 1 «Иностранной литературы» за 1962 год.

Я не собираюсь анализировать творчество Алексиса — его романы о жизни почти незнакомой нам страны говорят сами за себя, а его статьи и выступления (в 1956 году он выступал в Париже на I конгрессе негритянских писателей и художников с докладом о реализме гаитянского романа) мне, к сожалению, неизвестны. Хочется просто сказать о нем несколько слов как о человеке.

Пожалуй, не много встречал я в своей жизни таких обаятельных, простых, таких веселых и в то же время серьезных людей, как Жак Алексис. С первых же минут знакомства кажется, что этот молодой, очень даже молодой (хотя ему тогда было тридцать девять лет) человек с золотисто-каштановым отливом кожи и очень черными чуть-чуть ироническими глазами — твой давнишний закадычный друг. Так, во всяком случае, почувствовал я с первой же минуты, хотя по-русски он не знал ни слова, а я по-французски объясняюсь далеко не бегло.

Секрет его обаяния таился, по-моему, в каком-то удивительном умении совершенно раскованно, свободно и, я бы сказал, изящно держаться в любом обществе — будь то дети или взрослые, маститые литераторы или портовые рабочие. Он со всеми был одинаков — мил, прост, весел, даже дурашлив. Но за всем этим чувствовалось и другое — большое человеческое достоинство, ум и прорывающийся вдруг, даже в простой беседе, темперамент человека, у которого есть ясная цель в жизни, темперамент бойца.

Таким вот — веселым, энергичным и целеустремленным — представляется мне и его прадед Жан Жак Дессалин, тот самый, что возглавлял в 1803 году вооруженную борьбу за неза-

висимость Гаити и отбросил к морю французскую армию генерала Леклерка. Не будем осуждать прадеда за то, что впоследствии он провозгласил себя императором, — он был взбунтовавшимся негром-рабом, поднявшим на борьбу свой народ, и этого более чем достаточно, чтобы уважать его.

В Алексисе ничего нет от раба, хотя народ его сейчас и порабощен. Свобода его родины для него дороже всего, и, судя по дальнейшим событиям, нынешнее реакционное гаитянское правительство именно этого и испугалось.

Жак много рассказывал нам о своей родине, заселенной когда-то индейцами, полностью уничтоженными еще в шестнадцатом веке, о своем народе, потомках привезенных из Африки негров-рабов. С горечью говорил он о тяжелом положении четырехмиллионного народа сейчас. Рассказал он и о себе. Оказывается, он не только писатель, не только общественный деятель, он еще и врач-невропатолог.

Я в шутку спросил его:

— А кем выгоднее у вас быть: врачом или писателем?

Он подмигнул веселым глазом:

— Выгоднее всего иметь такую жену, как моя. Она шьет...

Жак недолго пробыл в Ялте, всего несколько дней. Вскоре он уехал. И стало вдруг скучно. Даже на пляже, куда мы с Жаком несколько раз ездили и где он покорил молодежь, главным образом как пловец, к нам подходили и спрашивали:

— А где Жак? Не простудился ли? У них там, вероятно, пожарче, чем у нас.

Потом я встретил его в Москве. В те дни он был очень занят, но урвать вечерок нам все-таки удалось. На Гаити было неспокойно, но Москва, по его словам, действует на него «тонизирующе», и он был весел, остроумен, горяч. Совсем как в Ялте. Он совершенно влюбил в себя всех сидевших за столом, особенно десятилетнего сынишку наших хозяев, Павлика, кото-

рому разрешено было по случаю «высокого гостя» не готовить сегодня уроки и позже обычного лечь спать. Он притащил Жаку глобус, и тот поставил крестик в том месте, где он живет, в Порт-о-Пренсе. Потом Жак подарил ему автограф — несколько строк пожеланий, чтоб Павлик рос таким-то и таким-то. Павлик с таинственным видом убежал, а через полчаса вернулся со сложенным вчетверо листком бумаги. На нем крупными буквами по-французски было написано: «Дорогой Жак! Обещаю тебе всю жизнь быть честным, правдивым и смелым. Твой Поль».

Не знаю, как у других, но у меня что-то заскребло в горле. У Жака, по-моему, тоже. Павлик же, когда Жак ушел, не выдержал, бросился матери на шею и, превозмогая всхлипы восторга, признался ей, что это был самый, самый счастливый день в его жизни. . .

Уезжая, Жак обещал писать. Кто верит таким обещаниям? Но он не обманул — спустя некоторое время пришло от него длинное письмо, написанное аккуратным, кругленьким, с забавными закорючками почерком. В нем он писал о романе, который никак не может закончить, о том, как трудно сейчас работать и как надо все же работать, несмотря на тяжелую атмосферу, из которой соткана жизнь.

«Где оно, то время, когда среди советских друзей я мог спорить об артистической судьбе нашего общего друга, человека искусства, того искусства, что порождает красоту жизни и счастье существования. Где это время, когда в Ялте я был предметом всеобщего вашего внимания и, отдыхая на каменистом крымском пляже, вдыхал чистый воздух свободной земли, где живут свободные люди? Где оно?»

Письмо кончалось трогательной просьбой: «Ответьте мне и «передайте», если можно, немного тепла (un peu de la temperature) вашей страны, которая переживает сейчас дни энтузиазма

после «прилунения» ракеты, открывающей наконец врата во вселенную».

Потом в заграничной, а затем в нашей прессе появилось тревожное сообщение о том, что Жак Стефен Алексис схвачен у себя на родине, брошен в тюрьму, что его истязали, били. В ответ на запрос французской газеты «Летр франсез» гаитянское посольство в Париже грубо ответило, что ему ничего не известно об этом и что обращаться надо к правительствам тех стран, куда он ездил.

Последние сведения о судьбе Алексиса вселяют еще больше тревоги — говорят, что он убит. Нам не хочется верить этому, так как мы знаем, что народ Гаити не допустит расправы над ним. Это один из лучших его сынов.

И мы верим в нашу встречу, верим, что пожмем его смуглую руку, верим, что увидим еще не раз веселый, не затуманенный никакими тюрьмами блеск его черных чуть иронических глаз. Верим, что прочтем еще не одну его книгу.

1961

Надеждам нашим не суждено было сбыться. Жака убили. Истязали, пытали и убили. В подвалах Национального дворца в Порт-о-Пренсе, рядом с резиденцией диктатора. Где он похоронен — неизвестно.

Как это произошло?

Его друзья рассказали печальную и трагическую историю. Последний раз его видели весной 1961 года в Порт-де-Пэ, маленьком гаитянском городишке. Попал он туда, тайно возвращаясь из Европы, на маленьком катере, пересекши 60-километровый пролив, отделяющий Гаити от Кубы. Он и его друзья направлялись в родной город Жака, но сбились с пути и высади-

лись на пустынном берегу, невдалеке от Порт-де-Пэ. Зная, что тайная полиция Дювалье ищет его, он не рискнул отправиться в город. На берегу встретился какой-то человек, и Жак дал ему банкноту в 100 гурдов (примерно 20 американских долларов) с просьбой разменять ее в ближайшей лавке. Хозяин лавки, увидев такую большую сумму, вызвал полицию. Расправа была жестокой. Подручные Дока вывели Жака и его друзей на площадь и забросали их камнями. Жаку выбили глаз. Справившись с болью, он крикнул товарищам, что надо еще держаться... Потом его доставили в столицу, где он и погиб в камере пыток.

Обо всем этом — во что мы не верили, не хотели, боялись верить — мы узнали несколько лет спустя из статьи Н. Мара в «Литературной газете» — «Убийство в Порт-о-Пренсе».

Заканчивается эта статья словами одного из руководителей Партии народного единения Гаити, хорошо знавшего Жака:

«Наша партия и народ Гаити всегда будут гордиться Жаком Стефеном Алексисом. Наш народ борется, твердо веря в светлое будущее. И в этой борьбе Алексис всегда с нами...»

И с нами — добавим мы.

ВИШНЕВСКИЙ

Молодой человек всю свою молодость хотел писать. Занимался другим — учился, актерствовал, делал декорации — и в то же время непрестанно писал. Иногда в этом писании что-то проскальзывало, но в общем-то молодому человеку писать было не о чем — окружающее, знакомое казалось не заслуживающим внимания, поэтому выдумывались какие-то замысловатые сюжеты, действие происходило то в Париже, то в Индийском океане, то — это уже в сороковом году — на «линии Маннергейма». К тому же автор явно пытался подражать... Кнуту Гамсуну, в которого был без памяти влюблен.

Аккуратно переписанные рукописи регулярно возвращались редакциями. Не помогали даже прилагаемые к рассказам собственные иллюстрации, которые, кстати, были значительно лучше, чем сами рассказы... Одним словом, рос и взрослел заурядный графоман. И был им я.

И вот случилось так, что писать вдруг, оказалось, есть о чем. И время свободное появилось, и место — госпиталь, вернее, заросшие зеленью откосы киевского стадиона, где вечно шлялись и валялись ходячие «ранбольные».

Так началось. Потом написанное в ученических тетрадях было продиктовано знакомой машинистке и отправлено с другом

в Москву — покажи там кому-нибудь. Сам тем временем — так уж неожиданно счастливо сложились обстоятельства — осенью сорок пятого года укатил за границу — в Польшу, Австрию, Чехословакию.

Вернулся — из Москвы сообщение от друга: «Кое-кто твоим опусом заинтересовался». Не буду описывать зигзаги и петли, которые проделала рукопись, пока не попала она в «Знамя», переданная туда А. Твардовским. В результате в начале февраля 1946 года я в шинели и сапогах, с папкой под мышкой и бьющимся сердцем остановился перед более чем скромной дверью на улице Станиславского, 24. На не менее скромной табличке написано — «Знамя»...

До этого я совался со своей рукописью в киевские издательства, даже в «Новый мир» (редактором тогда был В. Щербина), везде со мной были вежливы, но не более. Говорили какие-то слова, но в общем-то разводили руками, и рукопись возвращалась. В одном из киевских издательств рукопись вернули, даже не распечатав, — я хорошо запомнил, как была завернута и перевязана моя толстая пачка.

В редакции «Знамени» в первую очередь меня поразило помещение (потом я привык и полюбил его) — тесные, давно не знавшие ремонта пять комнат, кладовка и рядом с ней вахтерша с обязательным чайником на электрической плитке — для киевлянина тех лет признак небывалой роскоши, мы все больше пользовались примусами и керогазами.

В единственной не заставленной шкафами, стеллажами и полками комнате за большим столом (вернее, на нем, болтая ногами) сидел Анатолий Кузьмич Тарасенков — веселый, весьма активный, как потом я увидел, и очень моложавый, почему и назывался просто Толей. Вишневский отсутствовал — был в Нюрнберге, где шел процесс военных преступников.

Встретился я с ним, очевидно, уже летом. Пишу очевидно,

так как помню хорошо, что в тот февраль я с ним не видался — всем руководил Толя Тарасенков, — а в ноябре того же года, когда мы «отмечали» выход десятого номера «Знамени» с окончанием «Сталинграда» (так тогда называлась моя повесть, за что мне крепко досталось от газет), с Вишневским я был уже хорошо знаком. А то, что в промежутке я был в Москве (по-видимому, на несколько дней, так как все остальное в памяти стерлось), сужу по сохранившейся «исторической» телеграмме с датой 20.6.46 следующего содержания: «Подписал договор Знаменем на сорок две тысячи пойдет восьмом девятом номерах».

Вторая деталь, говорящая о знакомстве именно летом, это то, что Вишневский, несмотря на палящую жару, сидел за столом в пиджаке, что меня очень поразило, так же, кстати, как и несметное количество орденских планок на груди.

Прием был самый теплый, чтоб не сказать — горячий. Было сказано много хорошего по моему адресу, я таял от счастья, Вишневский и Тарасенков улыбались; одним словом, я влюбился в обоих по уши.

Люди они по складу характера были разные. С легкой руки Тарасенкова — в основном он вел работу с авторами — атмосфера в редакции была на редкость неофициальная, приходило много народу, все смеялись, хохотали, Толя принимал, как всегда, сидя на столе, — в общем, было весело. В те дни, когда приходил Всеволод Витальевич, все немного подбирались, пытались сосредоточиться, листали рукописи. И не то чтоб Вишневский был строг или как-нибудь по-особенному требователен, просто он был главным редактором и приходил не ежедневно, на два-три часа, не больше, и это создавало другую атмосферу — более деловую, во всяком случае внешне.

Потом, когда мы познакомились с Всеволодом Витальевичем ближе — я бывал у него дома и в Союзе писателей и вместе

выступали на каких-то литературных вечерах (он — «старый, опытный еще с гражданской» — представлял «молодого, талантливого, в нашем полку прибыло»), я понял, что он совсем не такой уж «деловой», зато напористый, увлекающийся, в редакторской деятельности более чем смелый. Мной он «увлекся», и здесь его прямота и смелость, небоязнь «инстанций» очень мне помогли — «Сталинград» вышел в том виде, как мы хотели.

Были и правки, и доработка, и сокращения, но все это шло без споров, душа в душу, и мне все это доставляло неизъяснимое наслаждение. Позже, в 1947 году, после обсуждения повести в Союзе писателей он писал мне:

«Ряд выступающих отмечали, что редакция «спровоцировала» автора на название «Сталинград» и подзаголовок «роман». Так как я лежу в больнице, я не мог пока ответить всем этим людям. Для меня нет сомнения в том, что и редакция и Вы дали верное название. Это на данное время наиболее ценная и наиболее точная вещь о событиях в Сталинграде. Мы, конечно, могли бы при нашем умении и искусстве здорово Вас выстирать, пропустить через синьку, подкрахмалить и отутюжить. К этому склоняются все наши критические «недоросли». А я решил оставить вещь такой, какой она вышла из-под пера окопника».

А до этого, когда только подписан был к печати № 8-9, он писал мне:

«Нам пытались доказать, что в романе «война изображена с точки зрения обывательской», «с точки зрения рядового». Эти замечания совершенно несостоятельны. Мы сказали, что мнение и взгляды п р о с т о г о, рядового человека имеют для нас, для литературы, б о л ь ш о е з н а ч е н и е. Мы убедили своих собеседников».

После выхода романа, как он упорно называл «Окопы»,

в свет он продолжал отстаивать и драться за него, где только было возможно.

Я хорошо помню, как он рассвирепел, даже покраснел, передавая мне в руки письмо от одного читателя, хотя было это уже года через полтора после опубликования «Окопов» в журнале.

Не могу не привести несколько строк из письма некоего Виктора Шиянова из Горького, по профессии следователя:

«Почему так непомерно велик авторитет Керженцева? Не мог Керженцев иметь такой авторитет. Его просто искусственно раздул Некрасов. Керженцев хотя и замещает комбата, но командир из него получается плохой. Он воспитывался не в семье трудящегося, а в семье какого-то мелкого аристократа. Керженцев барин с его противным отношением к Валеге. Так и хочется подойти к Некрасову — Керженцеву, отвернуть у него полу шинели и посмотреть: не на белой ли и шелковой подкладке у него шинель...

Некрасов заставляет Валегу говорить Керженцеву только во множественном числе: «они спят», «они любят то-то и то-то» и т. д. Как это противно, Некрасов — Керженцев! Так и хочется влепить тебе пощечину за такую барскую слюнявость... Мне, как следователю, так и хочется вежливо пригласить Керженцева в землянку к следователю и прочистить ему душу. Таким Керженцевым нельзя доверять командовать в Советской Армии!» И т. д.

— Ни в коем случае ему не отвечай! — кипятился Вишневский, тыкая пальцем в написанное аккуратным, ровным, привыкшим к следовательским протоколам почерком письмо. — Ни в коем случае! Я ему сам отвечу. И ему и его начальству! Да, да, и начальству тоже. Пусть начальство, если оно не лишено еще признаков ума, поговорит с ним в следовательской землянке по душам...

И еще несколько раз возвращался он к этому письму в течение дня и отпускал всякого рода эпитеты по адресу его автора.

Я не читал, но думаю, что ответ Вишневского был достаточно резок, весом и, на кого надо, подействовал. А то, что он ответил, не сомневаюсь, Всеволод Витальевич любил писать письма. Кстати, это была его слабость. Он, например, писал длинные, обстоятельные письма, которые тут же перепечатывались на редакционном бланке и отправлялись, вернее, передавались... Тарасенкову, сидевшему в соседней комнате.

В наш век, когда техника в виде телефона почти начисто заменила собой эпистолярное искусство, эта на первый взгляд забавная черта Вишневского оказалась вполне уместной — его мысли и высказывания (связанные в основном с литературой) остались зафиксированными, а не канули в Лету.

Сохранилось у меня еще одно письмо Вишневского. Оно связано уже с пьесой, которую я принес в журнал. Называлась она «Испытание» (позднее, когда она увидела свет рампы Театра имени Станиславского, называлась она уже «Опасный путь»). Путь этой пьесы был если не опасным, то во всяком случае не легким. Речь в ней шла о двух отвоевавшихся друзьях-офицерах (в первом акте была и война), пошедших разными путями: один (Кирилл Ладыженский) — честным, другой (Борис Севастьянов) — несколько менее честным. Дал я эту пьесу на всесоюзный конкурс, премии она не получила, но я зато получил предложения сразу от пяти театров — Малого, Художественного, имени Вахтангова, Ленинградского имени Пушкина и несколько позднее (не без участия Вишневского) Камерного. Остановился я в конце концов на МХАТе (о МХАТ, мой идеал, в который я когда-то безуспешно поступал актером...), но одновременно дал пьесу Вишневскому.

Летом 1947 года он писал мне по поводу пьесы:

«10 июня 1947 года.

Привет, товарищ Некрасов! Пьесу Вашу прочел. По сути это литературный, первый вариант.

Пьеса самобытная, талантливая, «ключевая», психологического плана... Диалог развивается свободно, естественно. Люди живые... Жаль, что мальчишка увядает где-то около середины пьесы, а он мог бы прекрасно нести тему молодости, упорства! Развейте, обязательнейше!

«Единство времени, места, действия» — дано смело, своеобразно. Пьеса не похожа на большинство сегодняшних пьес.

Есть настоящие раздумья, боль, сочувствие настоящим людям, подлинная актуальность. (Да, мировой спор идет между коллективистами и индивидуалистами, волками...) И есть философские «срывы» (как были в первом варианте «Сталинграда», помните?).

У нас нет «окопного братства», особой военной «дружбы», корпорации с особым духом, правилами и пр. У нас нет землячеств, культа окопных страданий, жертв и т. п. И не опирайтесь на это!

У нас ясные коммунистические идеалы, провозглашенные впервые век назад, а для России, для народа выработанные партией Ленина. Военная тема у нас понимается как часть единого народного дела... Ваши герои подчеркивают окопность, а нужно подчеркнуть суть мирового дела советского народа, его миссию...

Раздвиньте философские, политические рамки, — во всяком случае, у героя Вашего, Ладыженского. Это должен быть зрелый коммунист...

Часто текст засорен грубостями, штампованным жаргоном. Уберите это... Пишите чисто во всех смыслах... У вас семья дана чистая, благородная, рядовая и вместе с тем советская,

выдающаяся, творческая. Милые люди, сотворившие победу...

Продумывайте сокращения... (Тут Вам поможет опытный режиссер. С кем Вы работаете? Я предлагал Вам уже дать пьесу Таирову.)

Пьеса настоящих чувств, настроений... Есть очень тонкие нюансы. За бытом — чувствуется бытие, жизнь...

Борису и его окружению вы отвели места больше, чем надо. На сцене — по ее законам — получится некоторая схватка двух равновеликих лагерей, типов. В советской же жизни диктуют, творят, создают Ладыженские... (и, конечно, народ, простой, но в пьесе он не затронут).

Вы сами придете к нужным ужатиям... Думаю, что вокруг Ладыженского должно быть больше людей. Это естественно: он тянет к себе, и, кроме того, у него общественные функции. Он защищает, пишет, выручает, отстаивает...

Пьесу я включаю в план «Знамени». Хотелось бы поговорить о пьесе лично... Узнать театральные отзывы, мнения и т. д. Будьте в выборе театра органически точны.

Жму руку.

Вс. Вишневский».

Я привожу текст письма полностью потому, что мнение его автора мне очень дорого, хотя к самой пьесе я отношусь (да и относился) значительно сдержаннее, чем Вишневский.

В «Знамени» пьеса так и не была напечатана. И по той простой причине, что, связавшись с театрами, я начал ее переделывать, дописывать и переписывать и, запутавшись окончательно в вариантах, прозевал все сроки сдачи рукописи в редакцию.

Сценическая судьба пьесы была несколько более счастливой — зритель ее увидел, но не в МХАТе, а на сцене Театра

имени Станиславского (как и почему это произошло, это отдельный рассказ), но просуществовала она на этой сцене недолго — всесильный Реперткои после 20—25 спектаклей (было это в 1949 году) признал ее «клеветнической, искажающей образ советского офицера» и из репертуара изъял. Трудно оспаривать мнение столь авторитетной инстанции, как Реперткои, но думаю, что приведенная выше оценка пьесы Вишневского не менее авторитетна, и это меня тогда успокоило.

Больше я с Всеволодом Витальевичем не встречался — ни лично, ни письменно. Когда моя новая повесть («В родном городе») была закончена, Вишневского уже не было в живых.

Многое (особенно в творчестве) нас разделяло, но для меня он остался первым, кто дал мне «путевку в жизнь», дал от души, искренне. Такое не забывается.

ЧУКОВСКИЙ

В студенческие годы, кроме своих прямых обязанностей — сдавать с грехом пополам сопроматы и проектировать какие-то там театры и вокзалы, я выполнял еще обязанности «эмиссара» своей тетки Софьи Николаевны Мотовиловой.

В каждую свою поездку в Москву я получал от нее «спецзадание». То отвезти В. Бонч-Бруевичу — редактору сборников «Звенья» — ее мемуары (несколько лет по поводу них между теткой и редактором шла обширнейшая переписка, но мемуары появились в «Новом мире» только через тридцать лет), то передать в Институт Ленина сохранившуюся почему-то у тетки переписку Ленина с Мартовым, то зайти к Н. К. Крупской, с которой она работала в свое время в Наркомпросе, и передать ей письмо с просьбой разобраться в какой-то вопиющей несправедливости (об этом визите есть несколько строк в «Минувшем», где я называюсь «мой племянник»), то посетить вдову В. П. Ногина или разыскать в Москве дореволюционного теткиного друга С. В. Андропова, к которому она ездила в ссылку в Усть-Сысольск и т. д., и т. д., и т. д. . .

Году в тридцатом или тридцать первом получил я очередное задание — повидать Корнея Ивановича Чуковского и что-то, не помню уже что, передать ему.

Открывшая мне дверь немолодая женщина спросила, как доложить. Я сказал:

— Доложите, что пришел Некрасов.

Из комнаты рядом с прихожей раздался веселый, молодой хохот.

— Неправда, неправда... Некрасов давно умер. Это я знаю точно. — И опять хохот. — А ну-ка введите этого самозванца.

Я не без робости, а потому несколько развязно вошел в комнату. Корней Иванович был нездоров, лежал на кушетке, прикрытый одеялом, заваленный книгами, очень похожий на каррикатуры, которые я знал с детства. Запомнились, конечно, нос, веселый рот и еще более веселые, как любят у нас теперь говорить, озорные глаза.

— Ну, так что вас ко мне привело, юный мистификатор?

Я передал письмо.

Он быстро пробежал его глазами, улыбнулся и сказал:

— Узнаю коней ретивых... — и отложил письмо в сторону.

Они с Софьей Николаевной переписывались уже давно, и он прекрасно знал ее прямой и язвительный характер. Не сомневаюсь, что в переданном мною письме, в котором она, очевидно, о чем-то его просила, было несколько шпилек по его адресу.

Отложив письмо в сторону, предварительно аккуратно вложив его в конверт, Чуковский посмотрел на меня своими веселыми глазами.

— Ну, а вы чем занимаетесь, племянник своей тетки?

— Архитектурой...

— О-ля-ля... Архитектор, значит?

— В недалеком будущем.

— А где же птичница?

Я не понял:

— Какая птичница?

Корней Иванович в свою очередь удивился:

— Как какая? — И продекламировал своим неожиданно высоким голосом — теперь он благодаря радио и записям всем знаком:

Раз архитектор с птичницей спознался,
И что ж? — в их детище смешались две натуры:
Сын архитектора — он строить покушался,
Потомок птичницы — он строил только куры.

Значительно позднее я узнал, что эпиграмма эта принадлежит Козьме Пруткову, тогда же спросить постеснялся и в общем-то не понял, остроумно это или нет.

На этом наша беседа кончилась. Чуковский сказал, что обязательно ответит, но по почте, велел передать привет, и я откланялся.

Ощущение было странное. «Хохмач» какой-то... Слова этого, правда, тогда не существовало, но было какое-то другое, не помню уже какое, означавшее приблизительно то же самое.

Прошли годы... Десять, двадцать, тридцать. Чуковский стал для меня автором не только «Крокодила» и «Мухи-Цокотухи», но познакомиться с ним по-настоящему как-то все не удавалось. С теткой он по-прежнему переписывался, присылал ей веселые, остроумные письма и очень мило поздравил ее с «Минувшим». Не могу не похвастаться его отзывом:

«Дорогая одногодка, София Николаевна! Здорово! В Москве только и разговора, что о Вашем «Минувшем». Я-то знаю все эти шедевры с давнего времени. Знаю и про Брюсова, и про Черткова, и про Толстого, и про то, как Вы целовались в кустах в Purleigh с Альбиным, и про Хавкину, и про Танеева, но в печати, да еще в какой! в «Новом мире» зазвучало по-

новому молодо и свежо. Я очень обрадовался этим таким славным очеркам и спешу поздравить Вас с их напечатанием.

Ваш К. Чуковский.

25 янв. 1964.

Жаль, что не напечатали о Сергееве-Ценском. Картинная фигура».

Тетя Соня была, конечно, польщена и переписала письмо в дневник, что делала со всеми интересными письмами, но бурно негодовала по поводу поцелуев в кустах с Альбиным (С. В. Андроповым): «Никогда, никогда этого не было! Откуда он это взял? И еще писать мне об этом. . .» Я понял, что это очередная «шпилька» Корнея Ивановича в ответ на какую-нибудь Сонину.

Потом уже, при встрече, он говорил мне, что вместе с Софьей Николаевной ушел какой-то, оказавшийся очень существенным, кусок его жизни (кстати, виделись они только раз и то мельком на I съезде писателей), что такие люди, как она, встречаются теперь, увы, очень редко, весьма высоко оценил ее писательский дар, умение видеть, находить интересных людей, все близко принимать к сердцу, по-настоящему глубоко задумываться.

Я спросил его, между прочим, о столь возмутившем тетю Соню месте его поздравительного письма. Он, хитро взглянув на меня, сказал: «Неужели я такое написал? Ай-ай-ай. . . Нехорошо получилось». Я окончательно понял, что это был обмен «шпильками».

Встреча, о которой я говорю, произошла почти через сорок лет после первой. Было это летом 1969 года, в Переделкино.

Мы с приятельницей зашли к нему на дачу. Он сидел на веранде второго этажа, в уютном, завешенном от солнца и ветра закуточке. Так же, как и сорок лет назад, завален был кни-

гами и что-то писал. Нашему приходу неподдельно обрадовался, отложил книги — «ничего, подождут» — и тут же очень оживленно и молодо стал о чем-то рассказывать.

Я говорю «о чем-то», не уточняя, не потому, что не хочу об этом рассказывать, а потому, что в эти полтора-два часа, которые я у него пробыл, воспринимал я его главным образом как человека пусть знаменитого, лауреата и доктора Оксфордского университета, но как человека. И за этот крохотный промежуток времени человек этот меня покорил.

Есть разряд этаких молодящихся старичков. Они и на лыжах в ярких цветных свитерах, и на пляже, подтягивая животы, и с рюкзаком, отставая от всех, куда-нибудь на Валдай, и шарады ставят где-нибудь в Коктебеле, и «я не пропускаю ни одного концерта», «вы не были вчера на Огдоне, побойтесь бога», ну и т. д. Среди писателей эта категория лиц окружает себя юными талантами, подающими надежды поэтами и прозаиками, пропускает с ними по стаканчику доброго, старого «бургундского» и больше всего мечтает, чтоб говорили о них: «Посмотрите, шестьдесят (семьдесят, семьдесят пять) лет, а как молод душой. Все его интересует, все читает, на всех литературных вечерах бывает, даже выступает. . .»

Чуковскому, когда я с ним встретился, было 87 лет. На лыжах, по-моему, он не ходил, на пляже не загорал, насчет вина — не знаю как, — он просто сидел на диванчике в своем закутке и говорил. И говорил со мной молодой человек, не молодящийся, а именно молодой. Он тоже всем интересовался, и все читал, и рассказывал интересное, не злоупотребляя воспоминаниями («Как сейчас помню, мы сидели с NN. . .»), и все это было не фальшивым, подделывающимся, а настоящим. Настоящим и веселым. По-настоящему веселым. Ему весело было показывать собственные книги, вышедшие бог знает на скольких языках мира, так же как какого-нибудь надувного крокодила, или Бар-

малея, или Айболита, присланного то ли из Японии, то ли с Цейлона, или заводить гудящий, свистящий, пускающий дым игрушечный паровоз. И мне было в это время так же весело и интересно (может быть, потому, что я тоже люблю заводные паровозики), как когда я слушал его рассказы о проделках Куприна или последней поездке в Англию.

Теперь модно жаловаться на склероз. Все все забывают — «простите, склероз». Нет, Чуковский пожаловаться на это никак не мог. Он все помнил — и прошлое, далекое и близкое, и сегодняшнее, вчерашнее. И с юношеским увлечением, с юмором (в какой раз убеждался я, как нужен, необходим он, особенно тому, кто прожил столько лет и навидался всякого) рассказывал о людях, книгах, событиях, забавных и незабавных встречах. Он жестикулировал, размахивал длинными, опять-таки «карикатурными» руками, и глаза его, о чем бы он ни рассказывал, все улыбались, смеялись.

Мы вспомнили (вернее, я вспомнил, а он сделал вид, что тоже) мой первый визит к нему. И вот тут-то он заговорил о тете Соне.

— Да, — сказал он, и на секунду исчезла улыбка из его глаз, — уходят зубры, уходят зубрихи... Кстати, есть такое слово — зубриха? А ну спросим Даля.

Даль ответил, что есть. «Зубр — вид дикого быка с лохматой шеей. Зубриха — корова этого же вида. Зубря́ — зубриный теленок».

И вдруг, не отрываясь от словаря, расхохотался:

— А как вы думаете, что такое «зуб»? Ну, быстро отвечайте. Не знаете? А я вот теперь знаю. «Зуб — косточка, вырастающая из ячейки челюсти для укуса и размола пищи». Прелестно... Кстати, не пойти ли нам чего-нибудь укусить и перемолоть? Как вы на это смотрите?

Увы, мы торопились к поезду. Прощаясь, тряся его большую

с длинными пальцами руку, я предвкушал радость последующих встреч. Но им не суждено было осуществиться. Через два месяца случилось невероятное, неожиданное, потрясшее всех давно или недавно знавших его — он умер. В голове это не укладывалось. Не верилось. При чем тут возраст, 87 лет, вероятные болезни — нет, казалось нам, он всех нас переживет...

На память от него осталось у меня только коротенькое письмецо, написанное после появления в «Новом мире» моего рассказа «Дедушка и внучек», в котором упоминается моя тетка и рассказывается о некоей глупой ленинградке Нинель, которая из псевдопатриотических побуждений несла всякую околесицу.

Письмо так и начинается:

«Да здравствует Софья Николаевна, воскрешенная Вами, и да сгинет гнусная Нинель!» Дальше несколько теплых строчек по поводу самого рассказа и последний абзац:

«Эту бумагу я берег для новогодних приветов, но пусть она приветствует Вас в ноябре».

Приветственный этот листок — желтоватый, плотный, с изящной виньеткой вверху (made in Italy) — спровоцировал меня на ответный, не менее красивый листок (и даже конверт), если не ошибаюсь, взятый в брюссельском отеле «Metropole».

Вот так — всего две встречи с разрывом в сорок лет и одно письмо, но в дружбу нашу, чуть-чуть наметившуюся, только пунктиром, я верю до сих пор, верю, что она закрепилась бы. Бог ты мой, почему я раньше не приехал к нему в Переделкино? И вообще, почему я не ездил в Переделкино? Ведь там не только отдыхающие и творящие в Доме творчества писатели, с которыми можно встретиться и в Москве, не только летняя резиденция патриарха всея Руси, с которым, правда, нигде не встретишься, — там жили и работали, по-разному, каждый по-своему, Чуковский и Борис Пастернак. С Пастернаком меня судьба не свела, с Чуковским свела, но почему так поздно?

ИГНАТЬЕВ

Я не могу сказать, что на моем жизненном пути так уж часто попадались коронованные или хотя бы титулованные особы. Правда, в пятилетнем возрасте, сидя на чьих-то плечах, я видал Николая II, приезжавшего в Киев, но с Фридрихом-Августом-Вильгельмом Саксонским, каюсь, никогда не встречался, писал о нем со слов своего друга. Из титулованных же особ знал одну баронессу — фон Менгден, сиделку в железнодорожной больнице, где лежала моя мать в тифу, очень милую и внимательную маленькую старушку, двух маркизов — летчика эскадрильи Нормандия — Неман, с которым лежал в бакинском госпитале, звали его Марсель, а фамилию с приставкой «де» забыл, и парижского художника Мишеля де Сервиля, отдавшего все свои поместья под детдома, и трех графов — австрийского, обладателя роскошного герба, вытесненного на его почтовой бумаге и разъезжающего по всему миру с лекциями «о красоте и любви», итальянского известного писателя, и русского, с которым встречался только дважды, но о котором хочу написать эти несколько страничек.

Человеком этим был граф Алексей Алексеевич Игнатьев, сын киевского генерал-губернатора, адъютант генерала Куропаткина в русско-японскую войну, затем военный агент Российской империи при правительствах Скандинавских стран, а в первую мировую войну во Франции. Кроме того, он был автором нашу-

мевшей в свое время книги «50 лет в строю» и первого полученного мною «читательского» письма.

Письмо это пришло буквально через несколько дней после выхода в свет журнала «Знамя», где опубликовано было начало повести «В окопах Сталинграда».

«Я сам ведь так недавно записался в писатели, — говорилось в нем, — сам пережил волнения и мучения с первой частью «50 лет в строю» и потому почитаю себя в праве быть по отношению к Вам вполне искренним». Дальше, после положенных в таких случаях комплиментов, несколько «штрихов критики», сопутствуемых словами о том, что «это только для Вас, не для читателя, это ведь секрет нашего с Вами нового для нас искусства». Кончается письмо: «Люблю, как и Вы, родной Киев. Привет ему от старого киевского кадета».

Еще через несколько дней пришла и книжка, четвертая часть его воспоминаний. В самом ее начале фотография — вальяжный русский полковник с пышными усами, орденами и аксельбантами переводит какой-то русский документ французскому главнокомандующему генералу Жоффру — тоже с усами и звездами, весьма благодушному на вид старику в расшитом золотом генеральском кепи. Я прочел книгу Игнатьева залпом (Жоффр, Марна, Верден, Сомма — все это было мне с детства знакомо по «Ниве» и «Природа и люди») и решил при первой же возможности нанести визит генерал-лейтенанту Игнатьеву, в 1937 году переселившемуся из Парижа в Москву. Вскоре я это желание осуществил.

Дверь открыл сам граф. Высокий, статный, с идеальной, несмотря на свои семьдесят лет, выправкой, он галантно приветствовал меня, собственноручно раздел («не сопротивляйтесь, так положено, за лакея и повара в этом доме я») и пригласил в свой кабинет. Нет, не в кабинет — в музей... Много, конечно, книг, но еще больше фотографий — отец, командир кавалергардского

полка, он сам с друзьями по Пажескому корпусу и Академии генштаба, он с генералом Куропаткиным где-то под Лаояном и конечно же Франция — Париж, фронт, окопы, генералы, атташе, французские «пуалю» в голубых шинелях и рязанские, вологодские, костромские наши ребята из экспедиционного корпуса. И тут же на почетном месте кавалерийское седло, мирно доживавшее свой век в углу кабинета-музея. Но самым примечательным в этом музее была громадная, во всю стену, карта Европы. Алексей Алексеевич не без гордости обратил на нее мое внимание.

— Могу похвастаться, — сказал он, — думаю, что ни в Академии наук, ни в Ленинской библиотеке нет такой подробной карты. Сужу по тому, что ее специально затребовали в Кремль, когда проводилась демаркационная линия между Германией и СССР...

Я с уважением посмотрел на карту и, только чтоб не показаться нескромным, не осведомился о ее происхождении и деталях путешествия в Кремль.

Когда осмотр реликвий был закончен — кроме седла были тут и шашки, и пистолеты — французские, русские и еще какие-то, — я препровожден был в столовую и представлен супруге:

— Это моя Наташа Труханова, звезда парижских кабаре и кафешантанов в прошлом, а ныне домоправительница, которой все разрешается, кроме одного — готовить обед для гостей, о чем я вам уже говорил.

«Наташа Труханова», любезная и приветливая, сервировала стол.

— К моменту, когда вы закончите осмотр всех имеющихся здесь достопримечательностей, — сказала она, — все будет готово, и вы отведаете то, чем Алексей Алексеевич гордится не меньше, чем своей военно-дипломатической деятельностью.

Мы продолжали осмотр. В одной из комнат я подведен был к небольшому старинному шкафчику (новая, «модерная» мебель в этом доме не признавалась), и сквозь зеркальное стекло я увидал выставку орденов. Не помню, сколько их было, аккуратнейшим образом разложенных, что-то очень много — звезды, кресты, медали доброго десятка стран, в том числе, конечно, и русские.

— В день четырнадцатого июля, — сказал Алексей Алексеевич, — в день взятия Бастилии, национального праздника Франции, мне разрешается носить орден Почетного легиона. Вот он.

И он бережно вынул пятиконечный белый крест на пунцовой ленте и тут же рассказал историю этого учрежденного Наполеоном еще при консульстве ордена. Оказывается, он претерпел множество трансформаций, не теряя своего значения ни при империях, ни при Бурбонах, ни при Второй, ни при последующих трех республиках. Менялись только изображения в центре креста (то Наполеон, то Бурбонские лилии, то голова «Марианны» — Франции), девиз вокруг изображения и форма маленькой коронки, к которой прикреплялась лента. При республиканских режимах корона эта уступала место зеленому веночку.

Обо всем этом, об истории других орденов Алексей Алексеевич рассказывал весьма подробно, со знанием дела, не забыв ни одной даты, ни одной любопытной детали. От него я, например, узнал, что шитая большая звезда ордена Почетного легиона с наполеоновским, сидящим на каких-то молниях орлом и девизом «Честь и родина», принадлежавшая пасынку Наполеона, вице-королю Италии, принцу Евгению Богарнэ, хранится у нас в Эрмитаже. Узнал я и бесконечно сложную и запутанную историю борьбы между Австрией и Испанией (Габсбургами и Бурбонами) из-за ордена Золотого руна, учрежденного, оказывается, ни теми и ни другими, а вовсе неким герцогом Бургундии и Нидерландов Филиппом Добрым еще в пятнадцатом веке.

И забавные перипетии датского ордена Слона (всю жизнь думал, что это мудрое животное является эмблемой и прерогативой Сиама), первым кавалером которого в России был князь Меншиков, потом только Петр I. А орден Слона князя В. В. Долгорукова дважды возвращался в Копенгаген, когда князя разжаловали и ссылали, но в конце концов он все же вернулся к своему владельцу...

Одним словом, стоя перед заветным шкафчиком, я наслушался преинтереснейших историй, большинство которых, увы, забыл.

Совершенно неожиданно «орденскую» комнату сменила кухня, сверкающая до зеркального блеска начищенными медными тазами для варенья, аккуратно развешанными ножами всех размеров, одними из которых можно было, вероятно, освежевать быка, кастрюлями, банками и т. д. Порядок был идеальный. Что-то стоявшее на плите источало божественный аромат.

— Рабочий кабинет номер два, — серьезно сообщил Алексей Алексеевич и, прежде чем завести в ванную, приоткрыл дверь небольшого помещения, выходящего в прихожую. — Не угодно ли воспользоваться? Литература здесь на всех европейских языках.

Я больше из любопытства, чем по каким-либо другим причинам, воспользовался приглашением и обнаружил в этом третьем кабинете на двух или трех полочках небольшую библиотечку, предназначенную, очевидно, для людей, предпочитающих задумчивости легкое чтение.

Затем ванная — тот же идеальный порядок и чистота — и возвращение в столовую.

Сервировка поистине княжеская, вернее, графская — сплошной крахмал, фарфор, серебро и хрусталь. Вина, водки, коньяк, ликеры.

— Чего изволите? — любезно осведомился хозяин. — Мы

с Наташей предпочитаем вино, слегка разбавленное водой,— парижская еще привычка, да и возраст к тому же.

Я предпочел водку.

Об обеде ничего говорить не буду — тут без поваренной книги не обойдешься.

Несколько удивила меня появившаяся неожиданно на столе гречневая каша, нарушившая, на мой взгляд, общий стиль.

— Ошибаетесь, — сказала Наталья Владимировна, — гречневая каша любима не только в России, но и в Бретани. Алексей Алексеевич задумал сегодняшний обед как «общефранцузский» — на столе сегодня и Марсель, и Париж, и, как видите, Бретань.

По французскому обычаю обед заканчивается сыром и фруктами, за которыми следует коньяк или водка (начинается же он с аперитива). У Игнатьевых ритуал этот был несколько нарушен — концовка перенесена в предисловие, а вместо нее Алексей Алексеевич бережно принес из кабинета № 1 толстую папку и прочитал — очень хорошо прочитал — несколько отрывков из последней, не печатавшейся еще части «50 лет в строю».

Время от времени он прерывал чтение по-детски трогательными и наивными восклицаниями: «Здорово, а? Как по-вашему?» или «Ведь не плохо, честное слово, не плохо!», запивал разбавленным вином и продолжал чтение дальше.

Нет, он не злоупотребил вниманием плотно поевшего и несколько выпившего гостя, но, захлопнув папку, сказал:

— Но это еще не все, мой юный друг. Финальный аккорд за Наташей. — И, наклонившись ко мне, заговорщицки шепнул: — Мадам Игнатьева тоже, того-самого, немного грешит...

«Грех» ее, к счастью, оказался не чеховским «Мороз крепчал...» из «Ионыча», а милыми воспоминаниями о своей кафешантанной жизни, сопровождавшимися фотографиями, в стиле плакатов Тулуз-Лотрека.

Чтоб не отстать от хозяев, я (правда, спровоцированный на это) вынужден был рассказать о первом своем, напечатанном в журнале, произведении. Нет, не об «Окопах Сталинграда», а о статье, посвященной... филателии, напечатанной в журнале «Советский коллекционер» за 1932 г.

Потом мы сидели, курили, и Алексей Алексеевич рассказывал о своем отце, деде и прадеде, о невеселых событиях русско-японской войны, дипломатической своей карьере и тонкостях дипломатического этикета, о министрах и генералах, с которыми общался во Франции, среди которых были и будущие президенты (Думер) и главы правительств (Петен). Много грустного рассказывал он и о трагической судьбе русского экспедиционного корпуса во Франции.

Расстались мы поздно вечером. Прощаясь, он сказал, что обязательно приедет в милый его сердцу Киев.

— Надо все же посещать места, где проходили лучшие твои годы. Лавра, София, «родной кадетский корпус»... Кстати, интересно, что сейчас находится в доме моего родителя на Банковской?

Если не ошибаюсь, в 1946 году в особняке Игнатьевых была приемная Верховного Совета УССР, сейчас же там Союз писателей. В самой большой комнате с умопомрачительным лепным потолком, догадываюсь, принимал в свое время посетителей генерал-губернатор Киевской, Подольской и Волынской губерний, но в какой играл в солдатики одиннадцатилетний Лешенька, может, в нынешней приемной или бухгалтерии, так и не знаю.

Несколько месяцев спустя я повторил свой визит, приведя в гости к Игнатьевым Александра Твардовского, с которым Алексей Алексеевич давно мечтал познакомиться. Но об этом обеде или ужине, не помню уже, рассказывать вряд ли стоит — он был точным повторением первого моего посещения — от карты, седла и ордена Почетного легиона до «финального аккорда» — милейшей Наталии Владимировны.

ПЛАТОНОВ

Совсем недавно, случайно, листая «Литературную энциклопедию», я впервые в жизни увидал портрет О'Генри. И был поражен полным несоответствием фотографии с мысленно созданным мною образом. Я представлял себе автора любимых мною с детства рассказов полным, круглолицым, с насмешливыми глазами и почему-то если не лысым, то лысеющим. Из энциклопедии же на меня смотрел франтоватый серьезный господин с лихо закрученными усами и густыми волосами, расчесанными на средний пробор. До того, как стать писателем, О'Генри был банковским кассиром — вот на банковского кассира в своем стоячем, крахмальном воротничке он и был похож. И меньше всего на автора собственных рассказов.

Таким же, не похожим на свое собственное творчество, был и Андрей Платонов. Говорю я об этом уже сейчас, много лет спустя, к моменту же нашего знакомства (было это в конце сорок седьмого или начале сорок восьмого) я о нем только слыхал и ничего, признаюсь, до визита к нему не читал. Помнил, что что-то у него года полтора тому назад было напечатано в «Новом мире» и что В. Ермилов обвинил его в «клевете» на советскую действительность. О том же, что в свое время Платонов занимал видное место в советской литературе, я узнал

от его друзей, которые и познакомили меня с ним. От них же узнал я и о том, что после появления в свет в 1931 году повести «Впрок», подвергшейся сокрушительной критике, его практически перестали печатать, и только в 1937 году вышла в свет небольшая книжечка «Река Потудань».

Когда я шел к нему, я шел не столько к автору «Фро» и «Бессмертия», единственных двух рассказов, которые успел прочитать, сколько к знаменитому и забытому писателю. До войны я вообще с писателями не встречался. Видел один раз Чуковского и был на трех литературных вечерах — Зощенко, Вересаева и Маяковского. Первый поразил меня своими печальными глазами и тихим, тоже каким-то грустным, совсем не «зощенковским» голосом, второй абсолютно совпадал с моим представлением тех лет о «настоящем» писателе — пожилой, интеллигентный, в пенсне, с бородкой, Маяковский же оказался совсем таким, как и его стихи, во всяком случае с эстрады. Война столкнула меня только с одним писателем, и при очень странных обстоятельствах, — об этом я написал рассказ «Новичок». Сейчас, в 1947 году, я уже сам стал членом Союза писателей, но что такое писатель, «настоящий», так сказать, еще не совсем представлял. Но интересовался. Даже очень. Особенно «взаимоотношениями» между писателем и его творчеством. Совпадают они или нет — человек и его книги?

Имеет ли это какое-нибудь значение? Внешность, характер, книги? Не знаю, как для кого, — для меня имеет. И это вовсе не значит, что «совпадение» или «несовпадение» автора с его творчеством хорошо или плохо. Зощенко, каким я его видел, не «совпал», а Франсуа Вийон, которого ни я и никто вообще не видел, кроме его друзей и врагов, — тысячу раз да!

Андрей Платонович у меня «не совпал». Ни тогда, когда я к нему пришел в первый раз, ни в следующий, ни потом, когда навещал его в больнице.

Должен признаться, идя к нему, я испытывал известную растерянность. Мне очень хотелось познакомиться с ним, и в то же время два специально прочитанных мною рассказа, напечатанные в «Литкритике» (другое в руки не попалось), — ни «Фро», ни «Бессмертие» мне скорее не понравились. Я не мог даже точно определить, что именно, но что-то в них казалось мне искусственным. И я не знал, как себя держать. Неловко как-то, знакомясь с писателем, ни словом не обмолвиться о написанном им. Говорить о деталях (а они дошли) и не говорить о главном? Нелепо. Вообще не говорить? Нельзя. Хоть несколько слов. И я решил для себя, что нажму, так сказать, на железнодорожную сторону рассказов — я с детства обожал и одухотворял паровозы — все эти «щуки», «овечки», пассажирские острогрудые «с», — бегал встречать своих любимцев на станцию Ворзель, где мы жили летом, узнавал их по гудкам — одним словом, решил пойти «по линии» паровозов и машинистов, которых в детстве тоже боготворил...

Но опасения мои оказались напрасными. Именно «несовпадение» Платонова-писателя с Платоновым-человеком и спасло меня.

Постараюсь пояснить. Дело в том, что писатель и человек соединились в Платонове воедино — его герои, взрослые и дети, мужчины и женщины, начальники станций и красноармейцы, в основном думают и поступают, как думает и поступал бы сам автор. Но в этом-то, вероятно, и есть таинство искусства: «ТО», что избрало себе форму рассказа или повести, должно оставаться именно рассказом и повестью. «ОНО» не для размена, не для разговора, не для спора, не для «я хотел этим рассказом показать...». Вы, читатели, можете и, вероятно, должны даже (для этого и пишется) и обсуждать и спорить, а мое, писателя, дело сделано — я скромно отхожу в сторону и со стороны смотрю на вас. И слушаю. И иногда пропускаю мимо ушей.

Таким и оказался Платонов. В этом и заключалось его «несовпадение». В нем в жизни не было писателя, то есть человека с большей или меньшей степенью таланта, чему-то поучающего — словами ли, образами, поступками ли героев, — но все же поучающего, толкающего тебя в нужную ему, писателю, сторону. В жизни он был просто человеком — умным, серьезным, немного ироничным, — человеком, ничем не отличающимся от умного, серьезного и т. д. инженера, врача или капитана дальнего плавания, с которыми просто приятно и интересно общаться, приятно быть вместе.

Именно такой человек и открыл нам дверь, когда мы с приятелем к нему пришли. Если О'Генри похож скорее на банковского кассира, которым когда-то был, то Андрей Платонович на мелиоратора, которым тоже когда-то был. Внешность не очень запоминающаяся — широкий нос, умные, иногда улыбающиеся, иногда грустные глаза, высокий лоб, короткие, немного редеющие волосы.

Увидев нас, приветливо развел руками:

— Заходите, заходите, — и тут же с места в карьер: — А может, лучше прогуляемся? И закончим прогулку у тебя, — обратился он к моему приятелю, своему старому другу. — Надеюсь, из дома нас не прогонят?

И мы пошли гулять.

Я запомнил эту прогулку (первую и последнюю с Андреем Платоновичем), в основном по настроению, по тональности ее и по самому маршруту. О литературе, мне помнится, говорили меньше всего.

Жил Андрей Платонович на Тверском бульваре, в двух комнатах небольшой пристройки дома Герцена. Памятника (или как теперь принято говорить о некоторых из них, поменьше, скульптурного портрета) самого Герцена тогда еще не было, и деревья садовники не обкорнали, как теперь. Было уютно, «старо-

московско», и Пушкин стоял еще на своем месте. И начали мы свою прогулку с того, что подошли к нему и посидели на скамейке среди детишек, нянек и стариков с газетами.

Мне трудно сейчас сказать, мог ли в то время Платонов знать «Моего Пушкина» Марины Цветаевой, но я, прочитав сейчас великолепную эту прозу, смутно вспоминаю, что тогда, сидя на скамеечке, Андрей Платонович высказывал приблизительно те же мысли, что и она. Может быть, он даже и цитировал ее, но к стыду своему должен признаться, что имя Цветаевой мне тогда ничего не говорило. Кто читал «Моего Пушкина», несомненно запомнил страницы, посвященные «Памятник-Пушкину». Это чудесные страницы детских воспоминаний, первого детского восприятия мира у подножья черного гиганта. «Чудная мысль, — пишет Цветаева, — гиганта поставить среди детей. Черного гиганта — среди белых детей. Чудная мысль белых детей на черное родство — обречь. Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы, а я — так явно предпочитаю — черную. Памятник Пушкина, опережая события, — памятник против расизма, за равенство всех рас, за первенство каждой — лишь бы давала гения...»

Привожу эту цитату, потому что, помнится, Андрей Платонович, глядя на копошащихся в песке и раскачивающихся на цепях ребятишек, — а он любил детей, — сказал нечто подобное: «Под памятником Пушкина росшие не будут предпочитать белой расы».

Теперь Тверской бульвар осиротел. У той же Цветаевой: «...уходили мы или приходили, а он — всегда стоит. Под снегом, под летящими листьями, в заре, в синеве, в мутном молоке зимы — всегда стоит... Наших богов хоть редко, но переставляли. Наших богов под Рождество и под Пасху тряпкой обмахивали. Этого же мыли дожди и сушили ветра. Этот — всегда стоял». Увы, этого тоже переставили. Зачем — неизвестно.

«Из соседей это мой самый любимый писатель, — сострил, помню, тогда Платонов, — а из писателей — самый любимый сосед».

Сосед ушел, его увели уже после смерти Платонова. Он зазвучал по-другому на новом месте, на фоне кинотеатра «Россия» и редакции «Известий».

Мы поднялись. Дошли до Никитских ворот, направились к Арбату. Но не кратчайшим путем, а зигзагами, по переулочкам и закоулочкам, иногда заглядывая в «деревяшки». Теперь они прозрачные, стеклянные и называются «стекляшками», тогда они были глухими, тесными, деревянными и назывались, так во всяком случае называл их Андрей Платонович, «деревяшками». Он любил заходить в «деревяшки». Любил, потому что ему нравилось толочься среди случайной публики, смотреть, слушать, а иногда и вступать в разговор с соседом по стойке, каким-нибудь ремонтным рабочим, прибежавшим на перерыв, или заляпанным краской маляром, дожевывавшим свою колбасу. Сам Андрей Платонович пил немного — он был уже болен...

Так, по арбатским переулкам, через Собачью площадку, которой, увы, уже и след простыл, мы не торопясь добрались до Арбата. Говорили о том о сем, о международных делах, причем больше всего наш общий друг, — Платонов больше ронял, правда, всегда к месту и точно, реплики, — заходили в «деревяшки»... О паровозах, между прочим, тоже поговорили — уже без всякой задней мысли, без задания, просто я не мог лишить себя такого удовольствия.

Остаток дня мы провели в тесной, уютной, заставленной книгами комнате, сидя за сложной комбинацией письменного стола, маленького, на легких ножках, квадратного и совсем уж низенького, детского — все ступенькой (изобретение хозяйки, которой мог бы позавидовать сам Корбюзье), о чем говорили, уже не

помню, вероятно, все о том же о сем же, но помню, что было хорошо.

Больше ходячим Андрея Платоновича я уже не видел. В следующий мой к нему визит он уже лежал. На тахте или диване, между двух окон, выходивших на Тверской бульвар. Болезнь свалила его.

И каждый раз, когда я с кем-нибудь приходил к нему, а приходил я всегда почему-то не один, о чем весьма сожалею, он мило, чуть смущенно улыбаясь, говорил:

— Вы знаете что? У меня к вам большая просьба. Тут недалеко на Тверской «Гастроном». Так вот... Мне-то самому нельзя, но так приятно будет смотреть на вас. Деньги у вас есть?

Собственно говоря, эта фраза произнесена была один только раз, в первый, когда денег у нас действительно было что-то не густо, зато в последующие разы специально бегать в «Гастроном» уже не надо было — все было предусмотрено.

Увы, в следующий мой приезд в Москву диван был уже пуст — Андрея Платоновича уложили в больницу. Туда, в «Высокие горы», недалеко от Таганки, я заходил два или три раза, и мы даже прогуливались по небольшому, но довольно уютному парку и радовались, что Андрей Платонович хотя и бледный и худой, но опять на ногах. Но больше в тот мой приезд мне пришлось бегать по всяким министерствам и главкам. Нужен был стрептомицин — единственное средство от горловой чахотки, а был в те годы он на вес золота и без специального разрешения, а может быть, и разрешений не выдавался.

Беготня в конце концов увенчалась успехом, но было уже поздно — стрептомицин не помог.

Последнее воспоминание об Андрее Платоновиче — он на скамейке, в больничном халате, шлепанцах, грустный, но очень спокойный, хотя все знал, все понимал.

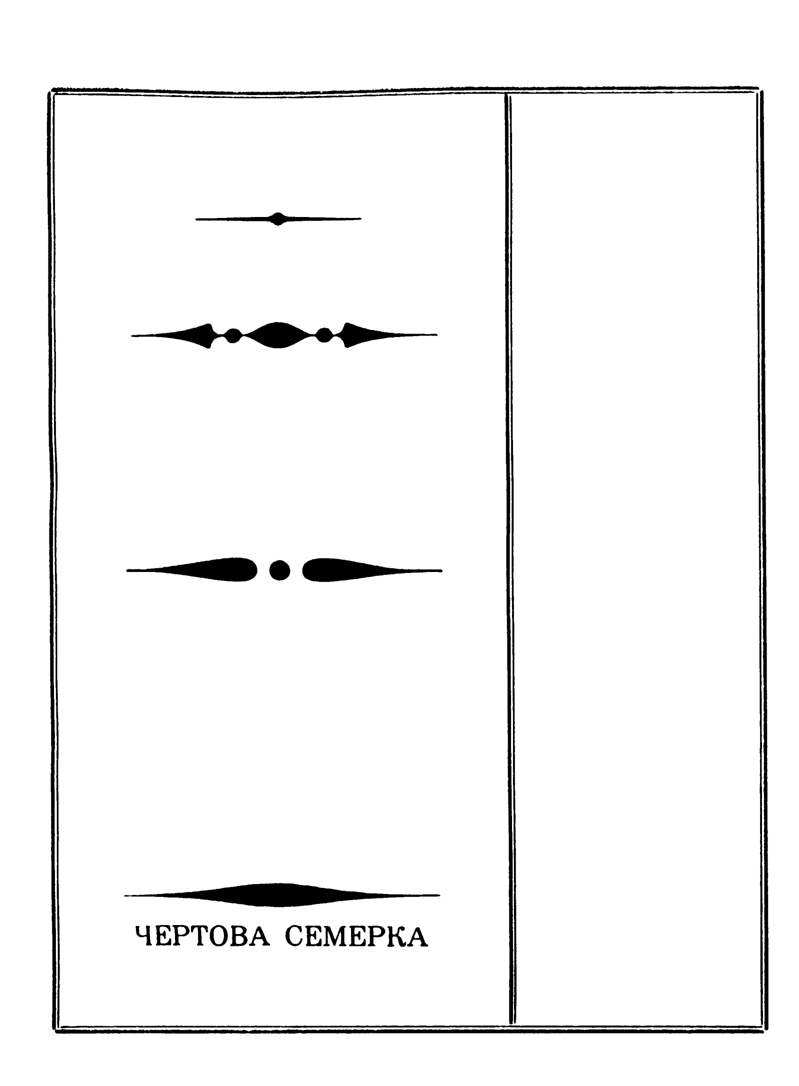
На память от него у меня осталась маленькая, серенькая, очень потрепанная книжечка («увы, другой сейчас нет...») с серебряной надписью «Река Потудань», издание «Советского писателя», год издания... 1987.

— Будем надеяться, — улыбнулся, вручая мне книгу, Андрей Платонович, — что эта опечатка в некотором роде пророческая. Авось в восемьдесят седьмом году меня будут еще помнить.

Сказано было с улыбкой, но и с горечью. Писателю горько, когда его не печатают, а значит, и не читают, даже если он и здоров.

Сейчас Андрея Платоновича и печатают, и читают, и даже фильмы по его рассказам ставят. Он опять знаменит. Не заросла к нему народная тропа...

Я с гордостью говорю: «А я его знал. Лично знал. Даже книжку с надписью имею...» Книжка книжкой — раритет, конечно, — но все-таки надо было хоть один раз прийти к нему одному, без спутников, тогда, возможно, и рассказать мне было бы больше о человеке, который «в жизни» не был писателем, но в писательском своем труде всегда оставался человеком.



ЧЕРТОВА СЕМЕРКА

Предлагаемые читателю главы из повести «В окопах Сталинграда» написаны были больше 25 лет назад, летом 1945 года, но в книгу не вошли. И не вошли по следующей причине. Закончив две части повести (кончались они тогда подготовкой к танковой атаке на водонапорные баки Мамаева кургана — глава 26-я), я отпечатал их на машинке и приступил к третьей части — к танковой атаке и последовавшим за ней событиям.

Но тут подвернулась возможность, хотя я уже демобилизовался, побывать в Польше, Австрии, Чехословакии. Работа была прервана. Перед отъездом я успел только дать своему другу-москвичу отпечатанный текст — пусть отвезет в Москву, покажет кому-нибудь, авось. . .

За время моего отсутствия рукопись побывала во многих руках и редакциях и в конце концов попала в «Знамя». Всеволоду Вишневскому она понравилась, и решено было немедленно сдать ее в набор. Но с условием: не канителиться с 3-й частью, а тут же, в Москве (я приехал из Киева), срочно написать концовку и сразу же — в типографию. Так родились последние четыре главы.

Публикуемое ниже — начало несостоявшейся третьей части.

Автор

ЧЕРТОВА СЕМЕРКА

1

Все начинается с танка — одного из тех шести, которые с вечера прибыли в наше расположение, — вымазанного в белую краску танка с черной корявой цифрой «7» на боку.

Рассчитали как будто правильно. На участке первого батальона в минных полях сделали три десятиметровых прохода, габариты отметили колышками. Расположение немецких минных полей, вернее отдельных заминированных участков, перенесли на соответствующие карты, и лично каждому командиру танка показали путь следования. . .

По плану наступление начинает второй батальон. Задача его — привлечь к себе внимание противника. Одновременно через три прохода двинутся танки с десантами по четыре человека на машине. Задача — смять огневые точки противника и выехать в тыл водонапорным бакам. За танками — пехота — первый батальон. Артподготовки никакой. Все на неожиданности.

Как будто неплохо.

Ровно в 5.00 второй батальон начинает свою демонстрацию. Немцы сосредоточивают на нем огонь. Ширяев дает сигнал танкам. Они благополучно переползают через маскировавший их вал и въезжают в проходы.

Тут-то и подрывается первый, левофланговый танк с цифрой «7». И черт его знает на какой мине. В самом неожиданном

месте — метрах в двадцати от наших минных полей. Подрывается и останавливается как вкопанный. Следующий за ним второй танк делает крутой поворот вправо и прямо въезжает в наше собственное минное поле № 11-бис — самое дьявольское из всех, смешанное из противотанковых и противопехотных мин. И тоже подрывается. Растерявшиеся десантники соскакивают на землю, на «мышеловки» — ПМД. Двое взлетают на воздух...

Этого достаточно. Десантники первого танка бегут назад. Танки второго прохода, заметив суматоху, останавливаются, открывают беспорядочный огонь, тоже пятятся назад. Только два танка третьего прохода едут прямо на баки и скрываются за ними.

Немцы открывают бешеный огонь.

В итоге — баки остаются у немцев, мы не продвигаемся ни на метр, два танка подбиты, три вернулись, один пропадает без вести где-то за баками. Убитых — восемь, в том числе экипаж первого танка, раненых — двенадцать. Второй батальон откатывается назад. Полный провал...

Танкисты матерятся:

— Всегда так с пехотой... Натыкают своих мин где только влезет и кричат «танки вперед!». Инженеры тоже называются...

Ширяев бледен, повязка сползает на брови, на меня не смотрит.

И откуда там мина взялась, черт бы ее подрал? Сам Гаркуша, парень, на которого во всех отношениях можно положиться, делал первый проход... То, что это не немецкая и не моя, я ни минуты не сомневаюсь. Значит, дикая, оставшаяся от дивизий, сражавшихся здесь до нас еще. Но ведь все дикие мины сняты и обезврежены. Неужели прозевали? И нужно же было именно этой остаться и как раз на линии первого прохода...

Бородин, командир полка, сух, даже садиться не предлагает.

— Спасибо, Керженцев, помог... На старости лет самому по передовой на брюхе ползать придется, мины твои проверять... Пойдешь к комдиву. Вызывает тебя...

Входя в блиндаж к комдиву, я чувствую, как начинает сильнее биться сердце. Полковник сидит спиной, подперев голову руками. Читает что-то при свете лампы. Блиндаж жарко натоплен. В углу на кровати адъютант в голубой майке подшивает подворотничок.

— Полковой инженер тысяча сто сорок седьмого полка лейтенант Керженцев прибыл по вашему приказанию.

Полковник медленно поворачивается, отодвигает рукой лежащую перед ним пачку бумаг. Смотрит на меня долго, не мигая. С тех пор как он был у меня в батальоне, я его ни разу не видел. За это время он еще больше похудел, и при боковом свете лампы особенно остро выделяются кости его лица.

— Полковой инженер, говоришь? — тихо спрашивает он, не отрывая глаз от меня.

— Полковой инженер, товарищ полковник.

— Тысяча сто сорок седьмого?

— Тысяча сто сорок седьмого...

— Работы у вас там, вероятно, много, в тысяча сто сорок седьмом полку?

— Много, товарищ полковник.

— Минные поля, что ли?

— И минные поля тоже, товарищ полковник.

— И хорошие минные поля?

Я чувствую, что начинаю краснеть. Полковник не сводит с меня глаз.

— Я тебя спрашиваю, хорошие минные поля у вас?

— Обыкновенные...

— Обыкновенные? А вот по-моему, не совсем обыкновенные... Много на них немецких танков подорвалось?

— Нет.

— Сколько же?

— Ни одного. Они не пускали танков.

— Не пускали, говоришь... А мы пускали?

Мне хочется провалиться сквозь землю.

— Пускали.

— И что ж?

— Два подорвались, товарищ полковник...

Полковник встает, подходит ко мне.

— А знаешь ли ты, что эти шесть танков — все, что есть сейчас на этом берегу? Знаешь ли ты, что Чуйков их специально снял с «Красного Октября», чтоб помочь нам овладеть баками, и что послезавтра они должны быть опять там, в тридцать девятой дивизии? Знаешь ли ты все это?..

Я молчу.

— Знаешь ли ты, что баки для нас сейчас все? Что это ключ ко всему городу? Что каждый день пребывания немцев в них — это лишние жертвы, лишние снаряды, лишние...

— Я все это знаю, но ведь по моей вине подорвался только один танк, и только за это я несу ответственность, а не за провал всего наступления... — Черт его знает для чего, но я все это говорю полковнику.

— Только один? — перебивает он меня, и бледное, худое лицо его становится вдруг красным. — Только один? А этого мало? Один танк. Нет, не один... а шестая часть всех действующих танков на этом берегу... И весь экипаж... Только один...

Он вынимает из кармана папиросу, разминает ее пальцами, она рвется, он выкидывает ее, вынимает другую и прикуривает от лампы. Делает несколько быстрых, коротких затяжек. Опять смотрит на меня.

— Так вот, я тебе приказываю вернуть эти танки. Понятно? Те два, что подорвались.

— У переднего моторная группа повреждена, товарищ полковник. Собственным ходом не выйдет.

Полковник останавливается, до сих пор он ходил из угла в угол.

— Эх, инженер, инженер... — Он укоризненно смотрит на меня. — А у второго как с моторами?

— Когда я уходил, благополучно было.

— Так вот... За ночь поможешь танкистам выбраться из мин. А тот, застрявший, в ДОТ преврати. Любыми средствами. Ясно? Под твою личную ответственность.

Я козыряю.

— Можешь идти.

Я ухожу.

Превратить танк в огневую точку, в дот. Но для этого его надо сначала захватить. А как? Рыть траншею? От наших окопов до него метров... Пять от окопов до минного поля, десять само минное поле, да за ним еще метров двадцать. Всего, значит, тридцать пять. А до немцев шестьдесят, от силы — семьдесят. Как раз посередине. Как бы немцам не пришла в голову та же самая мысль — сделать из танка дот. Из-под него они смогут и в лоб, и вдоль всей нашей передовой стрелять... Рыть траншею — единственный выход, открыто, в лоб, не возьмешь. Тридцать пять метров... При наших лопатах и замерзшем уже грунте не меньше тридцати пяти часов. Три ночи... Паршиво...

Ширяев сидит в блиндаже — насупленный, расстегнутый, перевязанная рука на столе.

— Можешь поздравить.

— С чем?

— Фрицы в танк забрались.

— В какой?

— В семерку.

— Успели, черт...

— Час тому назад. Перешли в контратаку и забрались.

— А мы?

— Что мы? Ни одного бронебойного и зажигательного. Как горох отскакивают.

— Фу-ты черт... А комдив приказал захватить его. В дот превратить... И тот вытащить...

— В том три трака перебито...

— До ночи ни черта не сделаем...

— Ни черта... Танкисты ругаются на чем свет стоит.

— Ну и пусть ругаются... А ночью мы с Гаркушей расчистим поле одиннадцать-бис, пусть меняют траки и вытягивают свой танк.

— А дальше что? Как эту чертову семерку захватишь?

— Рыть ход. Другого выхода нет.

— М-да... — Ширяев почесал нос. — Ладно, посмотрим. Сначала надо этот вытащить.

Ни один день в моей жизни не тянется так долго, как этот. Не знаю, куда себя приткнуть. Слоняюсь по передовой. Искурил трехдневную норму табака.

Немцы сидят в танке, пытаются повернуть пушки в нашу сторону, но башню заело, и у них ничего не получается. К вечеру устанавливают под ним пулемет и без устали начинают сечь по нашему танку.

Наконец наступает долгожданная ночь. Лихорадочно с Гаркушей снимаем мины с 11-бис, танкисты меняют траки — повезло еще, что повреждены они с нашей стороны, — и до восхода луны танк своим ходом возвращается в наше расположение. Это уже успех. Большой успех...

Теперь надо приниматься за другой, за эту чертову семерку.

2

В прошлую империалистическую войну, — я где-то об этом читал, — в сводках воюющих держав долгое время фигурировал «домик паромщика» — жалкое строеньице где-то на берегу Марны или Соммы, ставшее объектом ожесточенной борьбы. В сводках Информбюро наш танк не упоминается, в сообщениях главной квартиры фюрера, по-видимому, тоже нет. Но у нас в полку в течение добрых двух недель он спрягается и склоняется на все лады, фигурирует во всех донесениях, в виде черного, жирного ромба красуется на всех схемах и планах, торчит болезненной занозой на стыке первого и второго батальонов, многим, в том числе и мне, не дает спать и черт его знает сколько раз снится, хотя вообще сны на фронте — явление редкое.

Трудно сказать, скольких человеческих жизней он нам стоил, сколько снарядов и мин всех калибров и сортов было выпущено по нему с нашей стороны. В радиусе двадцати метров вокруг него земля буквально вспахана. Как-то ночью немцы выкрашивают его в белый цвет, чтобы черные, закопченные бока его не так выделялись на снежном фоне окружающей местности. Раза два мы его поджигаем, и он долго, отвратительно коптит небо... Иногда мы подбиваем один из пулеметов — теперь у них там два, но через час там появляется новый. Немцы подтягивают к танку ход сообщения. Мы тоже копаем к нему траншею, но немцы обгоняют нас, танк в их руках, и копать они могут с двух сторон.

А людей нет. В батальонах всего по девять-десять активных штыков. Бывает и меньше. Бойцы с десятидневным стажем

считаются уже стариками. Во втором батальоне однажды в течение суток оборону держали два пулемета и 45-миллиметровая пушка. Стрелки все вышли из строя.

Раз в три ночи приходит пополнение — озябшие, дующие в ладони юнцы, — топчутся как раз у нашей землянки, получают обмундирование — валенки, тулупы, меховые рукавицы.

— Это что, дяденька, Сталинград?

— Сталинград.

— А где же дома?

— Домов нет. Были дома.

Юнцы переглядываются.

— А хлеба по скольку дают?

— По восемьсот.

— И приварок?

— И приварок.

— А строевой занимаются здесь?

— Нет. Не занимаются.

— Слава богу...

И красноносые, покрытые пушком физиономии улыбаются. Потом их выстраивают, выкрикивают фамилии и уводят на передовую. Иногда только половина доходит до окопов — они пугаются мин, бросаются врассыпную...

Немцы бешено, остервенело сопротивляются. Еженощно трехмоторные «юнкерсы» сбрасывают им боеприпасы. Где-то там, западнее, кольцо сжимается, стягивается, но здесь, на берегу Волги, передовая не сдвигается ни на метр.

Вторую неделю по Волге идет сало, или шуга, как ее здесь называют. Сообщение с левым берегом осложняется. Боеприпасов не хватает. Батареи на этом берегу — артиллерийские и минометные — получают строгие лимиты на снаряды, а ночной тревожащий огонь из винтовок вообще запрещается. Артиллеристы воруют друг у друга снаряды.

С продуктами тоже неважно. Снабжают нас «кукурузники». Сбрасывают по ночам завернутые в рогожу тюки с сухарями и концентратами. Адресатом считает себя всякий находящийся по эту сторону Волги. Кто увидел, тот и забрал, кому свалилось на голову — тот и хозяин. «Чумаковцы» — разведчики — проявляют бешеную активность. Раза два Чумака вызывают к самому комдиву. Оттуда он приходит злой и красный.

— Отдай этим соплякам из сорок пятого два мешка сухарей, — бросает на ходу старшине, — и скажи, что в следующий раз морду им наклепаю, если так вести себя будут.

И старшина ворча вытягивает мешки с сухарями, — в углу у него целый склад.

Так идет жизнь.

Громыхает артиллерия, строчат пулеметы, разведчики ходят за «языком», Устинов — дивинженер — одолевает меня бумажками, но я их не читаю. «Чертов танк», «проклятая семерка» — как прозвали его бойцы, не дает мне житья.

Траншея почти не подвигается, грунт как камень, лопаты ломаются, кирки не берут, тол весь вышел, аммонит дрянной, а главное, немцы! Буквально поливают место работы свинцовым дождем, стреляют из минометов, бросают гранаты.

К концу недели мы прокапываем еле-еле десять метров — меньше полутора метров за ночь. Теряю половину своего взвода — троих убитыми, остальных ранеными. Ко всему еще Агнивцев заболевает чем-то похожим на тиф, и его отправляют в медсанбат. За ним отправляется Валега. Стерегущий на той стороне лошадей ездовой Кухарь попадается на краже овса и угождает в штрафной батальон. Кроме Валеги, его некем заменить. Остается нас четверо — я, Лисагор, Гаркуша и Тугиев. . .

Траншею прекращаю копать.

3

Как-то вечером приходит с левого берега Лазарь — начфин. Весь белый и дымящийся от мороза вваливается ко мне в землянку. Замерзшими, негнущимися пальцами вытягивает водку из кармана.

— По случаю взятия танка. Вспрыснуть надо...

Лисагор смеется. Я ничего не отвечаю. Мне уже надоели эти розыгрыши. Нет человека в полку, который не шутил бы по поводу моего танка. Даже тихий, скромный Лазарь — и тот вот острит.

— Иди ты знаешь куда?

Лазарь удивленно пожимает плечами.

— А у нас, на той стороне, слух распространился — будто красный флаг уже на танке...

— Вот приходите с той стороны и берите его, а потом уже слухи распространяйте.

Лазарь улыбается, скидывает шинель, сапоги, забирается на койку.

— Мороз такой, что голова трещит. К утру, наверное, Волга станет.

— Давно пора. Может, тол тогда подвезут.

Лисагор раскупоривает бутылку.

— Взрывать, что ли, танк собрались? — спрашивает Лазарь.

— Какой там танк. Землю, а не танк. Земля знаешь какая?

— Вы что, подкапываетесь под него?

Лисагор так и застывает с бутылкой в руке. Меня тоже точно током ударяет. Вот дураки! Неделю мучаемся под немецким огнем, а такая простая мысль до сих пор не пришла в голову...

— Лазарище, будь ты проклят, золотая голова! Где ты только учился?

Подкопаться! Просто как колумбово яйцо! Ближе всего к танку от крайней правой фарберовской землянки. Метров тридцать, не больше. Вал около нее высокий — метра полтора. Немцы даже не увидят, как мы землю выкидывать будем. А грунт на глубине не такой мерзлый.

— Здорово, черт возьми! — Лисагор хватает карандаш. — И людей много не надо. Копать сможет один человек — только часто менять. Один копает, другой землю вытягивает, двое разравнивают и маскируют. Восемь — десять человек с гаком хватит. Если дивизионных саперов человек пять подкинут — дня за три-четыре сделаем. Правда, инженер?

Лисагор подводит черту и пишет под ней цифру «4» — четверо суток.

— Устинов твой в восторге будет. Совсем как в Севастополе. Заложим толу килограмм сто — и как ахнем! .. Представляешь воронку? Бойцы из нее прямо шеренгой пойдут.

Мы выпиваем поллитровку, хлопаем от радости Лазаря по спине так, что он кашлять начинает. Натянув валенки, я бегу к Ширяеву, потом к майору.

Звонок по телефону полковнику, трехминутный разговор, и с завтрашнего вечера я получаю в свое распоряжение взвод дивизионных саперов, сто пятьдесят килограммов аммонита и пятьдесят килограммов тола из неприкосновенного запаса. Срок — четыре дня.

Ночью я никак не могу заснуть, ворочаюсь с боку на бок, мешаю свернувшемуся около меня клубочком Лазарю спать, курю одну папиросу за другой.

Следующие четыре дня я, кажется, совсем не сплю. Где-то урывками, скорчившись, вздремну на полчаса, и все. В рот ничего не лезет.

Лисагор тоже в лихорадке. Матерится за десятерых, сам землю таскает, раздобывает где-то три аккумулятора и десятиметровый шнур с лампочкой, кормит бойцов шоколадом, чтоб азартнее были.

В первые сутки проходим десять метров. Во вторые — восемь с половиной. Задерживает земля. В ведрах и котелках, на карачках приходится вытягивать ее наружу. С каждым новым метром работа усложняется. Грунт все-таки мерзлый, хотя мы только на глубине двух метров.

К утру первого декабря пройдено восемнадцать с половиной метров. Осталось одиннадцать с половиной. Меняем бойцов через каждые пятнадцать минут. Включаемся сами. В общей сложности нас работает пятнадцать человек. Этого более чем достаточно.

Еще один день. К вечеру остается пройти три метра. Бойцы копают, как звери. Вылезают из туннеля потные и грязные как черти. Совершенно неутомим Тугиев — работает не по четверти, а по полчаса и в четыре раза превышает норму. Я выхожу из строя — со второго раза натираю себе мозоли на ладонях. Четыре дня — ни я, ни Лисагор не ходим на берег.

Второго декабря часов в девять вечера звонит из штаба Ширяев.

— В пять ноль-ноль «сабантуй». Успеешь?

— Успею.

— Я приду часа в четыре. Разведчики тебе нужны?

— Для чего?

— Живая сила. Вместо третьего батальона.

— А не жалко?

— У меня Чумак был. Предлагал свои услуги.

— Что это с ним случилось?

— Хочет первым в танк попасть. Полковник говорил, что к ордену представит.

— Ну что ж, пускай приходит. Я ему всегда рад.

— Человек пять хватит?

— Хватит.

— Жди, значит.

— Жду.

Я кладу трубку.

Итого, значит, одиннадцать бойцов — по три от двух батальонов и пять разведчиков. Мощная операция. Надо только ребят подходящих подобрать. Звоню Синицыну и Фарберу. Синицын обещает дать хорошие «березовые колышки». На нашем телефонно-кодовом жаргоне «березовыми» (в противовес «горелым») колышками называются опытные бойцы, преимущественно из сибиряков.

Фарбер сам приходит ко мне — в блиндаж первой роты, мой временный КП.

У него желтуха. Лимонно-желтый, в круглых очках своих, он похож сейчас не то на китайца, не то на японца. Желтухой сейчас почти все болеют — от однообразной пищи. Противная болезнь — нападает инертность, сонливость, пропадает аппетит. То тут, то там на снегу видны красно-бурые следы мочи.

— Кончать, значит, сегодня собираетесь? — говорит Фарбер, снимая и протирая запотевшие очки.

— Как будто. . .

— Волнуетесь?

— Волнуюсь.

Я чувствую, что мне страшно хочется спать — режет глаза, точно в них песок, — а сон не идет. Бывает такое!

— От вашего батальона трое пойдут, знаете? — говорю я.

— От моего три и от Синицына три. Так, что ли?

— Так. Всего шесть.

— Шесть. . . Почти целый батальон.

Он улыбается своей тихой некрасивой улыбкой.

— Сколько у вас людей теперь, Фарбер?

— Каких? Которые хлеб получают или воюют?

— Воюют.

— Без минометчиков и пулеметчиков — девять. Это с командирами рот, взводов, отделений.

— А их сколько?

— Один.

— Здорово.

— Вчера было двое, сегодня один.

— Убит?

— Убит. Уразов. Вряд ли вы его знаете. Из новеньких. Татарин, кажется, или казах. Хорошенький такой, черноглазый...

— Снайпер, должно быть?

— Снайпер. Расплодилось их сейчас у фрицев — уйма. За последнюю неделю пятерых вывели у меня из строя.

— Мне сегодня тоже попало, — сидящий в углу связист показывает потрепанную ушанку — в ней маленькая аккуратная дырочка в наушнике, — когда цепь проверял.

— А Уразову в каску, — говорит Фарбер. — Прямо в лоб. Никогда раньше не носил. А тут надел. Точно предчувствовал. Утром все письма писал.

— А вы верите в предчувствие, Фарбер?

— Как сказать...

— А все-таки...

Фарбер опять снимает и протирает очки. Надевает их, поправляет за ушами, на переносице. Не мигая смотрит в огонь, на весело потрескивающие щепки.

— Как вам сказать... — совсем тихо говорит он, — и верю, и не верю. Умом не верю, а вот где-то внутри, вопреки разуму... — Он старательно впихивает в печку смолистую, сверкающую янтарными капельками щепку, пламя с жадностью охватывает ее со всех сторон. — В детстве я боялся покойников, ни

за что бы не пошел ночью на кладбище. Даже сейчас, когда я вижу убитого, мне трудно представить себе, что это уже все, абсолютный конец... Какой-то душевный атавизм?.. — Он подбрасывает еще несколько щепок в огонь. — Был у меня друг. Собственно говоря, даже не друг — друзей у меня давно уже нет, — а человек, к которому я очень хорошо относился. И он ко мне как будто неплохо. Веселый такой мальчик, командир конной разведки. Шутник, весельчак, кровь так и играла. На любое самое сложное задание, как на прогулку, отправлялся. Заломит набекрень кубанку, папиросу в зубы — и пошел... И вот когда он на последнее свое задание отправлялся — было это весной этого года, на Донце, — пришел он ко мне и попрощался... «Будь здоров, говорит, Фарбер, больше не увидимся». Я сразу даже не понял. Решил, что в другую часть переводят или в какое-нибудь училище посылают. «Нет, говорит, за «языком» иду». — «Почему же не увидимся?» — «Не вернусь. Убьют». И в одну точку все смотрит. «Я уж точно знаю». Даже карточку мне на прощанье подарил.

Фарбер расстегивает шинель и откуда-то из глубины достает старенький, потрепанный бумажник. Мы оба долго рассматриваем веселое, мальчишеское, почти без бровей лицо, смотрящее на нас с потрескавшегося и потертого глянцевого квадратика.

— Сережа Кондрашев. Лучший разведчик, которого я когда-либо встречал. — Фарбер прячет бумажник и застегивает шинель. — Ему оторвало голову снарядом, когда он уже вернулся с задания и устраивался на ночлег...

Больше мы ничего не говорим. Сидим и смотрим на огонь, на вываливающиеся из печки и тихо гаснущие на земле угольки. Откуда-то издалека чуть слышно доносятся редкие, равномерные пулеметные очереди... На передовой тишина.

А часиков через пять-шесть... Проверим пистолеты, гранаты, натянем рукавицы и...

Я закрываю глаза и стараюсь себе представить, как развернутся события.

Будем лежать у входа в туннель на животах и смотреть на часы. Потом или я, или Ширяев скажем: «Пора». Кто-то приложит к наискось срезанному бикфордову шнуру спичку и с силой проведет по ней теркой. Спичка не зажжется. Зажигающий вполголоса выматерится, полезет в карман за другой спичкой. Кто-нибудь присветит фонариком, заслонив его ладонью. Опять движение теркой. Вспышка. Пошло. Бикфордов шнур выплевывает пламя, тихо шипит, укорачивается. Пятнадцать секунд — столько секунд, сколько в нем сантиметров. Медленно подбирается к капсюлю, капсюль соединен с детонирующим шнуром. Детонирующий шнур длиной в тридцать пять метров, но сгорит он в $^{1}/_{8}$ секунды. Он горит со скоростью 270 метров в секунду... Мы все сожмемся, подберемся, еще раз проверим, где гранаты.

А потом... Потом тридцать метров под землей, натыкаясь на чьи-то пятки, сжимая в руке оружие, задыхаясь от напряжения...

А может, недостаточно тола положили и воронка получится слишком маленькая, тесная? Нет. Сто пятьдесят килограммов тола и сто пятьдесят аммонита — это не игрушки...

Ну, а потом, потом... Неужели будем сидеть под танком? Повернем пулемет и будем жарить по немцам? Ход завалим, заминируем. А завтра вечером, сидя в моей землянке за шипящим самоваром, будем говорить обо всем, как уже о прошедшем...

А может?.. Нет, не может быть. Ни в коем случае не может быть... Никогда больше не скажет полковник: «Эх, инженер, инженер...»

— Товарищ лейтенант, вас!

Телефонист протягивает мне трубку. Беру.

— Шестьдесят первый слушает.

В ухо шипит голос Коробкова — зам по тылу, — он сегодня дежурный по штабу.

— Большой хозяин интересуется, как дела. Сколько осталось?

— Метра три...

— К пяти будет готово?

— Будет.

— Так и передать?

— Так и передать.

— Это точно?

Я отдаю трубку телефонисту. Коробков может замучить своими вопросами. Фарбер встает, опускает наушники на шапке — мороз сегодня еще крепче.

— Поеживаются фрицы, — улыбается он, завязывая тесемки под подбородком. — Видали наш трофей сегодняшний?

— Какой трофей?

— Неужели не знаете? Фриц к нам перебежал...

— Ну?

— Самый настоящий, кукрыниксовский. В пилотке. Обмотанный полотенцем.

— Что ж вы не рассказываете?

— Я думал, вы знаете. Раненько утром еще прибежал. Надоело, говорит, воевать — холодно. Штрафник. Не захотел отдать офицеру теплый свитер. С убитого товарища снял. Ну и угодил в штрафники — под танк.

— Под танк?

— Под танк. Он у них «toteninsel» называется — «остров смерти». Туда только штрафников посылают. Кто сутки просидит — оправдывается, кто двое — получает железный крест,

кто трое — с дубовыми листьями. Но таких еще не было...

— Ага... Значит, и у них он в печенках сидит. Хорошо.

— Говорят, в день по пять-шесть убитых вытягивают из-под него.

— Хорошо...

— Отправили его в штаб. Что-то важное хочет сообщить, только не ниже как полковнику... Смешной такой, замерзший и с рюкзаком не меньше, чем он сам. Пожалел расстаться... Ну ладно. Я пошел...

Фарбер протягивает руку.

— Так, значит, в пять?

— В пять.

Он уходит. В землянку врывается облако свежего морозного воздуха, и коптилка чуть не гаснет.

4

Слегка морозит. Недавно прошел снег, и кругом все бело и чисто. Небо затянуто. Редко, лениво взлетают ракеты, искрится сухой рассыпчатый снег. Невдалеке белеют баки, покосившийся, точно упершийся лбом в землю танк... Так близко он, в двух шагах... Смутно виден извилистый зигзаг траншеи, — теряется где-то около баков.

Тихо...

Даже пулеметы из-под танка не стреляют. Ждут. Лисагор сидит на корточках у норы, в валенках, в ватнике, курит в кулак. Двое бойцов, согнувшись, разравнивают вываленную землю, присыпают сверху снегом.

— Принесли взрывчатку? — спрашиваю.

— Последнюю ходку делают.

— Где свалили?

— В разбитой землянке, около НП.

— Аммонит подсушил?

— Подсушил... Но вообще дрянной. Один мешок совсем как камень. Пришлось отложить.

Присветив цигаркой, смотрю на циферблат.

— Без двадцати три уже...

— Два часа осталось.

— Два часа.

— Ничего. Успеем.

Из норы вылезает боец с ведром. Высыпает землю.

— Что-то мягче грунт стал. Пошло дело... — И опять уползает под землю.

Через час приходит Чумак с четырьмя разведчиками. Точно на парад собрались — подтянуты, бляхи поясов сверкают, тельняшки выстираны.

— Будем ордена зарабатывать, а, инженер? — улыбается Чумак, разваливаясь у печки.

— Давай, дело хорошее.

— Первым пустишь меня?

— Полезай, коли охота есть...

— Пехоты сколько будет?

— Шесть.

— Тоже по ходу?

— Нет, вторым эшелоном — из недорытой траншеи.

— Закурим по этому случаю.

Закуриваем.

— Что на берегу слышно? — спрашиваю.

— Ничего. Пусто — хоть шаром покати. Одна Рита-почтальонша.

— Газету не догадался принести?

— Ничего интересного. Фрицы там, западнее, пачками сдаются, а здесь вот сидят, сволочи.

— А в Африке?

— Ни хрена. Французы где-то, не помню уже где, флот свой подорвали. Линкоры, крейсера. . .

— Зачем?

— Откуда я знаю. Взорвали, и все. Немцы, что ли, захватить хотели. . .

Вваливается Лисагор. Отряхивает снег.

— Принимай, инженер.

— Кончил?

— Кончил.

— Отправляй тогда людей. Тугиева только оставь. И мин противопехотных с полдесятка. Дивизионному саперу скажи, чтоб завтра приходил водку пить, если живы останемся. Шнур проложил?

— Гаркуша тянет.

— Ладно. Когда кончит, скажешь.

Лисагор уходит. Вскоре приходит Ширяев, за ним Фарбер и Синицын. Опять закуриваем, поглядываем на часы. Остается полчаса. Двадцать минут. . . Пятнадцать. . .

Без десяти выходим. Опять снег пошел — густой, за десять шагов ничего не видно. Батальонные бойцы в белых маскхалатах топчутся около туннеля — толстые, неуклюжие, точно медведи. Подходит Лисагор:

— Можно поджигать?

Я поворачиваюсь к Чумаку.

— Твои готовы?

— Готовы.

— Твои, Синицын?

— Готовы.

— Фарбер?

— Готовы.

Все отвечают почему-то шепотом. Я докладываю Ширяеву.

— Начинай, — тоже шепотом говорит он.

Лисагор, поскрипывая валенками, подходит к туннелю, садится на корточки. Долго что-то возится. Зажигает. Чумак протягивает мне финку: «Возьми, пригодится» — и подходит к туннелю. Я за ним. Как долго тянутся эти пятнадцать секунд. Я успеваю снять рукавицы, засунуть их за пояс, вынуть пистолет, взвести, осмотреться по сторонам: все точно вкопанные — белые солдаты, черные в своих бушлатах разведчики...

Считаю — раз-два-три-четыре-пять...

Страшный взрыв сотрясает землю и воздух. На какую-то неуловимую долю секунды все озаряется ослепительным, режущим глаза светом. Плоское, с зажмуренными глазами лицо Лисагора... Сыплется земля сверху...

— Пошли!

Чумак скрывается в черной дыре. Я за ним. Быстро-быстро перебираю руками и ногами. Ход тесный. За шиворотом полно земли. Кто-то, вероятно Тугиев, сопит за моей спиной.

Лезем, лезем, лезем... Конца нет этому ходу... Жарко и воняет толом... Стоп... Чумак стал... Разгребает землю... Пошел... Видно небо... Морозный воздух... Конец... Чумак выскакивает... Воронка, как от 200-килограммовой бомбы... Справа вверху танк — покосившийся, белый на черном небе... Вот он, сукин сын, шагов пять-шесть всего...

Чумак бросает гранату... вторую... Бежит по ходу сообщения... Исчезает. Я проваливаюсь куда-то... Хватаюсь за холодное, липкое от мороза железо танка... Чей-то крик... Кто-то наваливается на меня, хватает за горло... Ударяю финкой — раз-два... Свалилось... Лезу дальше... Крик... Сип... Выстрелы... Что-то с силой ударяет меня по ноге... Ни черта не пойму...

— Юрка, ты?

— Я...

— Спички есть?

— Фонарик.

— Зажигай.

Никак не могу вытащить фонарика. Запутался в кармане. Сзади кто-то наседает.

— Это вы, товарищ лейтенант?

— Стой... не лезь.

Зажигаю фонарик. Лицо Чумака. Из носу у него течет кровь. Убитый немец с открытыми глазами. Пулемет. Все кругом забито отстрелянными гильзами.

— Здесь все... Полезли назад. — Чумак отпихивает меня и лезет назад. Поворачиваюсь и чувствую вдруг, что правая нога прилипла к земле... Что за черт... Неужели... Освещаю фонариком ногу. Ниже колена в сапоге крохотная дырка... Хочу поднять ногу... В глазах круги...

— Чумак!

Никого. Мертвый фриц, пулемет и гильзы. Это все. Ползу на локтях и левом колене к выходу... Опять круги... Снаружи стрельба, взрывы гранат... Стиснув зубы, ползу дальше. Еще один фриц. Блестят шипы на подошвах сапог. С трудом перелезаю через него. Он лежит ничком, поджав руки под живот. Еще теплый...

Вверху небо. Трассирующие очереди. Чувствую, что дальше ничего не выйдет. Вытягиваюсь. Жду.

Хлоп... Кто-то прыгает прямо на меня. Ч-черт!

— Кто это?

В ответ только ругаюсь.

— Товарищ инженер, вы?

— А кто же...

— Ранены? — Кто-то наклоняется надо мной.

— Вроде...

— Федька, давай скорей пулемет и прыгай...

Кто-то еще прыгает в траншею. Это последнее, что я помню. Все кругом застилает что-то черное и тяжелое... Мне удобно и уютно. Никуда не хочется. Заснуть бы только... Крепко-крепко.

5

Все позади... Танк, Лисагор, Ширяев, землянка с шипящим самоваром...

Надо мной мутное, затянутое тучами небо. Где-то луна. Под низом мягко. Ушанка налезла на самые брови и почему-то опущены уши. В рот лезет что-то шершавое вроде шинели. Прямо передо мной спина — широкая, в тулупе... Куда-то везут... Скрипят полозья. Приятно укачивает... Засыпаю... Просыпаюсь... Все та же спина... Чья же это спина? Мне лень спрашивать, и я опять засыпаю...

Потом кто-то осторожно берет меня под мышки и под зад, и вместо широкой спины — крупы двух лошадей, помахивают хвостами. Чьи-то незнакомые лица.

— Поосторожней там, хлопцы... Видите, нога переломана...

Как будто голос Гаркуши — грудной, низкий. Несут куда-то. Палатка — большая, светлая, на боковых стенах длинные черные тени.

— Передовая карточка есть? — спрашивает кто-то.

— Есть, есть... — опять голос Гаркуши.

Но я его не вижу — только голос слышу. Что он здесь делает?

— Кладите сюда.

Опять подымают. Я оказываюсь на столе, совсем голый. Знобит. Под спиной холодная, противная клеенка.

Теперь я вижу уже Гаркушу. Черноусый, в расстегнутом тулупе, в сдвинутой на затылок ушанке, он улыбается во весь рот.

— Ты чего здесь? — спрашиваю я, и голос мой как будто доносится из другой комнаты.

— Вас привез, товарищ лейтенант... — И все улыбается. — В дом отдыха привез.

— Медсанбат, что ли?

— Так точно. Медсанбат.

— Танк взяли или нет? — пытаюсь припомнить я последние события.

— Как же. При мне майор Бородин комдиву звонил.

— А мне что — ногу перебило?

Я приподымаю голову. Правая нога ниже колена распухла и замазана кровью. Раны на таком расстоянии не видно.

Маленькая, с туго закрученными вокруг головы черными косами девушка, — должно быть докторша, — наклонилась надо мной. Натирает живот чем-то холодным. Пахнет эфиром. Почему живот? Ага, от столбняка — с этого всегда начинают. В ее руках шприц — большой и блестящий. Я вижу, как медленно тает в нем мутная, неприятная жидкость. Ее вгоняют мне в живот, но это совсем не больно.

Докторша щупает ногу — зачем-то тянет ее. Фу-ты черт... Вырвать, что ли, хочет?

— Осторожней, черт вас возьми!

— Новокаин, — не подымая головы, говорит кому-то докторша и быстро-быстро маленькой ваткой смывает кровь с ноги.

— Запишите, Шура: средняя треть правой голени. Перелом. Огнестрельная, сквозная. Раны чистые. Потеря крови незначи-

тельная. Первичная обработка... — Круто поворачивается ко мне: — Санрота?

— Санрота, — вставляет Гаркуша — он все тут же, не уходит.

— Пишите — санрота.

Она опять берет в руки шприц и четыре или пять раз подряд втыкает его в ногу ниже колена, деликатно оттягивая кожу. После этого я уже ничего не чувствую в ноге — даже когда маленьким, сверкающим ланцетом аккуратные пулевые дырочки превращаются в длинные, кровоточащие разрезы.

— Противостолбнячная сыворотка введена. Рассечение входного и выходного. Риванол. Иммобилизация — шиной Крамера.

Все это она говорит быстро и отрывисто, как заученный урок, и на меня — не на ногу, а на меня — обращает внимание, только когда прямая, как палка, нога обмотана бинтами от пятки до таза.

— В госпитале гипс наложат. Страшного ничего. Месяца полтора-два отдохнете, а там опять... — И на лице ее — только сейчас я замечаю, какое оно утомленное, — появляется улыбка. — Следующий...

Меня снимают со стола.

В палатке — другой уже, поменьше — Гаркуша взбивает солому, раскладывает одеяла — оказывается, он их штук пять с собой привез.

— Спасибо, Гаркуша. Иди. Мне хорошо.

— Там под подушкой я фляжку положил. Чтоб не скучали.

— Спасибо, Гаркуша. Не беспокойся.

— Это командир взвода Лисагор передали. Чтоб нас вспоминал, сказал.

— Спасибо. Поблагодари его. Не забудь.

— Обязательно. — И потоптавшись еще вокруг меня: — Не холодно?

— Нисколько. Все хорошо. Иди, иди.

Он просовывает свою шершавую руку мне под одеяло и пожимает пальцы.

— А жар у вас все-таки есть. — И немного еще помявшись: — Ну, поправляйтесь... А кончится, еще привезем. Чтоб не скучно было.

И, весело подмигнув мне, уходит.

6

Госпиталь, в который я попадаю после медсанбата, — незавидный госпиталь. Маленький, тесный, бывшая школа. Лежат в коридорах прямо на соломе. Одеял не хватает, простынь тоже, халатов и тапочек нет. Мы долго лежим в приемной, ждем, когда натопят баню. Ругаемся на чем свет стоит. В машине намерзлись, повязки сбились — сто километров по ухабистой дороге, держась за борта, стиснув зубы, — удовольствие ниже среднего.

Потом баня. В ней холодно, санитарок, чтоб обмыть нас, не хватает, в перевязочную очередь. Ходячие захватили лучшее белье, а мы, лежачие, лежим в рваных рубахах, засунув истории болезни под повязки. Опять ругаемся и ждем своей очереди на стол. Сквозь поминутно хлопающую дверь видно, как суетятся врачи в соседней комнате.

Раненых много, большинство из 64-й и 57-й армий, с той стороны кольца, с юга, с севера.

— Пять суток везли... Всю душу вытрясли... — ворчит кто-то в углу.

— Шоферов бы всех этих на передовую... Разжирели... Торопятся куда-то... — Это откуда-то уже из другого угла.

— И без курева все время... Там, говорят, получите. Дождешься...

— Повязка вся промокла к чертовой матери...

— Сестра, а, сестра... Двое суток не оправлялся... Дала бы утку...

Сестры сбились с ног, проходы завалены ранеными, коптилки от сквозняков поминутно гаснут.

В палату попадаю уже утром к завтраку. Маленькая, на пять человек, командирская. Санитары ставят носилки посреди комнаты.

— Где свободная койка?

— Вон туда, на место Варламова. Посмотри только, переменили ли простыни.

Раненые, завернувшись в одеяла, сидят на койках — хлебают что-то из глиняных мисочек. Один спит.

— Из какой армии?

— Шестьдесят второй.

— Не из тринадцатой гвардейской?

— Нет, сто восемьдесят четвертая.

Долговязый с раскосыми глазами парень, в коротких, чуть ниже колен кальсонах, подсаживается на мою койку.

— Ну-ну, рассказывай, сосед... Как там? Взяли вы уже баки?

— Черта с два...

— А наших не передвинули, не знаешь? Говорили, что правее вас поставят.

— Пока нет. Правее — девяносто вторая...

Еще двое подсаживаются, держа миски в руках между колен. Один безногий, на костыле, с гвардейским значком на рубахе, востроглазый и вертлявый, другой угреватый, но красивый. Черноглазый и курчавый.

— Нога, что ли? — спросил безногий.

— Нога.

— Осколком, пулей?

— Пулей. Из пистолета...

— Из пистолета?..

— Из пистолета.

— Где же это ты умудрился?

— Чего ж тут умудряться? Выстрелил фриц, и все. На то им и оружие дают.

— Кость цела?

— Голень ниже колена перебита.

— Полтора месяца как из пушки, — говорит раскосый и ставит миску на окно. — Это если остеомиелита не будет.

— Чего не будет?

— Остеомиелита. Это когда осколки в свищ лезут. Костяные. Тогда, пока все не вылезут, лежать будешь.

— А нерв задет? — спрашивает другой, похожий на грека.

— Черт его знает.

— Пальцы чувствуешь?

— Чувствую.

— А двигать можешь?

— Не пробовал.

— Попробуй.

— Как будто шевелятся.

— Твое счастье... У нас тут лежал один. Рана чепуховая — на десятый день зажила, а нерв повредило — радиальный на правой руке. Дали год отпуска — пока не восстановится.

— А он что — сам восстанавливается?

— Сам. Только медленно очень. По миллиметру в день. От места повреждения до кончиков пальцев. А если порван, тогда сшивать надо — канитель дай боже.

— А вот у нас случай был, — перебивает раскосый и начинает рассказывать бесконечную историю о том, как одному лей-

тенанту отбило член и как хирург восстанавливал ему. Рассказывает он долго и подробно, со всеми деталями, но слушают его все с удовольствием. В госпиталях вообще охотно говорят о различного рода увечьях и ранениях, и с особым удовольствием о своем собственном. И где его ранило, и при каких обстоятельствах, и как на плащ-палатке тащили, и как наркоз давали, а он не брался («выпил я перед тем малость»), и как осколок «вот такой величины» вытащили, и как в машинах потом трясли. . .

— Тебя тоже трясли? — смеется курчавый.

— Дай бог. Все внутренности наизнанку.

— А через Волгу как? На лодке?

— Нет. На лошадях. Стала уже Волга.

— Ну? . .

— Неделю как стала. В одном месте только не замерзла — полынья осталась — против водокачки.

— Слава богу. . . Наладилось, значит, снабжение.

— Понемножку. . .

— И шамовка лучше?

— Не лучше, но больше. И хлеб вместо сухарей.

— Ну, а фрицы как? — перебивает безногий.

— Сидят. Огрызаются.

— Вот сволочи. И неужто бомбят еще?

— Бомбить не бомбят. Боеприпасы только сбрасывают.

— А наши?

— Тоже не очень. Раза три в день «илюши» летают за бугор, по ночам «кукурузники».

— А «ванюша»?

— «Ванюши» нет. Умолк.

— Не жизнь, а малина! — хлопает он рукой по колену и смеется: — Надо на передовую, а то зажиреешь здесь на булочках да манной каше. . . У вас там небось манкой не кормят. . .

— Надоела, что ли?

— Поживешь — увидишь. Утром манка, в обед манка, на ужин манка. Ни одна баба на тебя смотреть не станет.

— У Ларьки все бабы на уме, — смеется черномазый, сверкая зубами. — Ноги нет, а все о бабах...

— А о ком же! Полтора года баб не видал, а тут их пруд пруди. И врачи, и сестры, и кухарки — все бабы...

— А лечат как? — спрашиваю.

— Кто? Кухарки? На обед увидишь..

— Лечат ничего, хоть и молоденькие, — говорит раскосый, — с ног только сбиваются — раненых уж больно много.

— А сестры?

— Сестры ничего, жить можно. Наша — палатная, совсем хорошая. Варя. Вот хозяйка — та похуже. Белья хорошего не добьешься, БУ все, с завязками, ржавое...

— Ты ей скажи, чтоб тапочки дала, сама никогда не додумает. Ты кто — лейтенант?

— Лейтенант.

— Тогда хуже. Она у нас капитанов и майоров только признает. В двенадцатую вот палату — там три капитана — дала халаты, а нам один на пятерых...

— А газеты есть?

— Газеты есть. Фронтовая на палату. А в красном уголке и «Правда», и «Известия», и «Красноармеец» есть. Ты ходил уже за ними, Ларька?

Ларька хватает костыль и исчезает в коридоре. Все это у него получается очень ловко.

— Староста палаты, — говорит долговязый. — Мировой парнишка. Лыжником был, а сейчас вот на костыле... Как выпьет — все здоровую ногу свою показывает, заставляет мускулы щупать. Первую премию где-то за танцы получил.

К вечеру я знаю уже всех. Знаю, что Ларька до войны был

слесарем на заводе, что он представлен к двум орденам, что есть у него где-то в Саратове Вера, но что-то давно уже не пишет (много развелось там, видно, тыловиков в ремешках и хромовых сапогах), что командир их дивизии мировой парень — восемь орденов уже имеет, что во втором отделении мировая сестра Дора, блондиночка такая, и он с ней того самого...

Долговязый с раскосыми глазами оказывается моим коллегой — полковым инженером. Зовут его Серапион, фамилия Будочка, и вообще все в нем неожиданно, не так, как у других. Он самый высокий в палате, но кальсоны на нем самые короткие. Борода у него растет очень бурно, но только под подбородком и на шее, а усов никаких. На ногах у него по шесть пальцев, и это является предметом бесконечных и не очень разнообразных острот. Родился он где-то в Баренцевом море на ледоколе, во время шторма, отец у него был капитан. В детстве был на Аляске, на Курильских островах, даже в Японии. По профессии техник-строитель, в армию пошел добровольцем, хотя и имел броню. Ранило его тоже по-глупому. Бомба попала в двух шагах от него в походную кухню, но не разорвалась. Перебило оглоблю, она отлетела и впилась в землю, а по пути перебила ему руку. Сейчас она уже зажила, он комиссовался и со дня на день ждет получения документов.

Третий — мой сосед по койке. Когда меня принесли, он спал, завернувшись с головой в одеяло. Проснулся только к обеду. Маленький, кругленький, розовый — абсолютно лысый, он приветливо улыбается:

— Капитан Сумароков. Никодим Петрович. С кем имею честь?

Представляюсь.

— Разрешите узнать, куда ранены?

— В ногу.

— С переломом?

— Да.

— И гипс наложили?

— Нет еще.

— Завтра наложат. Здесь хорошо накладывают. Надо только, чтоб сама Вера это делала, а то старшая из первого отделения кости не умеет направлять.

Он все время улыбается и поглаживает лысину.

— А мне, голубчик, в живот угодило. Но как угодило! Вы только послушайте. . .

И начинается традиционный рассказ о пуле, брюшной полости, наркозе и прочих прелестях. А вообще он симпатичный. Ему шестьдесят лет, в прошлом он был счетоводом в Наркомлеспроме, сейчас служит в политотделе армии и ждет писем от жены, которая эвакуировалась в Сибирь.

Осколок, который ему попал в живот, — маленький, величиной с горошину, — он держит под подушкой, в спичечной коробке, завернутым в ватку, и с охотой его всем показывает, с улыбкой приговаривая: «Вот такая вот мелочь — грамма в ней нет, а может на тот свет отправить». Вообще говорит он много, с увлечением, и круг его познаний безграничен. Он знает чуть ли не всех генералов Красной Армии по имени и отчеству, самым подробнейшим образом может рассказать ход Бородинского сражения, с указанием всех действующих частей и их командиров, наизусть знает боевые данные и фамилии капитанов, участвовавших в Цусимском сражении, без запинки скажет, сколько километров от Саратова до Москвы или от Киева до Конотопа.

Главный его слушатель — Бояджиев, младший лейтенант. Черноглазый, курчавый, похожий на Пушкина в детстве, он по утрам часами выдавливает угри на лице, зажав зеркальце между колен, а вечером, завернувшись в одеяло, как в тогу, читает

нам монологи Чацкого, Незнамова, Фердинанда или Карла Моора — до войны он был любовником в каком-то театре.

— Не так, не так... — ворчит Никодим Петрович, сидя на своей койке, тоже завернутый в одеяло — в палате прохладно, а халатов нет. — Больше души... Души больше... А ты все на голос... Смотри, какой красный стал... Вот Орленев, например...

И начинаются воспоминания об Орленеве.

Иногда Бояджиев поет — у него довольно приятный, комнатный тенор, а Ларька аккомпанирует на мандолине, и тогда наша палата набивается до отказа ранеными из соседних палат, а сестры вздыхают и не сводят глаз с такого красивого, такого душки младшего лейтенанта...

В общем, ребята славные...

На ногу мне накладывают гипс — холодный, тяжелый, захватывающий колено. Химическим карандашом пишут на нем дату и фамилию. Для чего фамилию, никак не могу понять, но так уж заведено. Начальница отделения, очень хорошенькая, но строгая и малообщительная Вера Афанасьевна, говорит, что только через месяц снимут, а может, и больше.

— Дней через десять начнете ходить, а пока лежите.

И вот я лежу. Смотрю в окно на кусочек крыши с водосточной трубой и то синее, то серое небо, слушаю хрипящее над головой радио и бесконечные рассказы Никодима Петровича, глотаю стрептоцид и читаю «Гиперболоид инженера Гарина» — единственную на все отделение книгу, истрепанную до такой степени, что о содержании приходится больше догадываться, чем узнавать из самой книги.

В палате теперь тепло, клопов нет, желтое с красной полоской одеяло мягко и уютно, кормят белым, как вата, хлебом,

снаряды вокруг не рвутся, на задания никто не посылает — что еще надо... Лежи и поправляйся, деньги все равно идут, даже с полевыми, и девать их все равно некуда...

По утрам нам ставят термометры, и каждый раз кто-нибудь нащелкивает градусник до 39 или 40 градусов и сует дежурной сестре. И хотя это повторяется каждое утро, сестра обязательно пугается (по-моему, специально, чтоб доставить нам удовольствие), а мы хохочем, как дети.

Вообще раненые мало чем отличаются от детей. Шутки, приводившие меня в восторг в третьем или четвертом классе, доставляют мне сейчас такое же удовольствие, как и пятнадцать лет назад. Спрятать чей-нибудь хлеб и слушать с наслаждением, как ругается обиженный с буфетчицей; приколоть записку сестре на спину; спрятать одеяло или подушку во время смены дежурных... Бог ты мой, как это весело... Мы грохочем на целое отделение, даже лысый, имеющий трех детей, и одного из них майора, Никодим Петрович.

Там, на передовой, времени не было заглянуть хоть одним глазом в «Фортификации» Ушакова: чуть свободная минута — сразу спать заваливаешься. А здесь времени хоть отбавляй, а немецкий словарь и какой-то журнал — будем же мы когда-нибудь в Германии! — без дела пылятся на тумбочке. Не хочется заниматься. Не хочется читать серьезных книг. Скорей бы вот в соседней палате «Таинственный остров» прочли... А пока что проигрываю Будочке одну за другой по десять партий в шахматы в день, выслушиваю бесконечные рассказы о любовных похождениях Ларьки или спорю с Никодимом Петровичем о вариантах открытия второго фронта или значении в нынешних условиях войны долговременной обороны.

— Вот я старый человек, — говорит он, поглаживая свою гладкую как бильярдный шар лысину, — в военном искусстве мало понимаю, но, по-моему, простите меня за смелость сужде-

ния, все эти линии Мажино и Зигфрида со всеми своими дотами, бетонированными казематами и подземными туннелями — все это чепуха, ничего кроме вреда они не приносят. Это мое глубокое убеждение... Вот вы — полковой инженер. Вы создатель той самой бетонной стены, которой немцы оправдывают сейчас свою неудачу в Сталинграде... А, простите меня, человека неопытного, можете вы мне сказать, из чего она состоит? Много ли в ней бетона и всяких там драконовых зубов?

— Пожалуй, не очень, — уклончиво отвечаю я.

— Не очень? Вы говорите — не очень, — он весело смеется, и лысина его становится красной и блестящей, как спелый помидор. — Я у вас там не был, сооружений ваших не видал, но не поставлю и ломаного цента против десятидолларовой бумажки за тот десяток дзотов и тысчонку мин, которые вы там расставили...

Я молчу. На участке моего полка всего шесть с позволения сказать дзотов — два наката рельсов и полусгнившие шпалы сверху — и 560 мин. Но я молчу — пускай себе думает...

— Разве мины ваши удержали немцев? Разве дзоты? Черта с два, дорогой мой друг, черта с два... Вон тот Ванька и Петька, которые лежат сейчас в соседней палате и дуются в домино, вот этот самый наш Ларька — покоритель дамских сердец, оставивший свою ногу где-то у Тракторного завода. Вот этот бетон, который сдержал немцев. А вы говорите — «линия Мажино»... Да плевать я на нее хотел со всеми ее лифтами и электрическими поездами. Она превращает бойца в бабу, в автоматический пулемет... Стойте, стойте, не перебивайте меня! Вы читали корреспонденции Белякова — кажется, Белякова или Байдукова, не помню уже, — об американских лагерях в Аляске? Теплая и холодная водичка, электрические печки... Не читали? Прочтите... Обязательно прочтите. Очень поучительно... Или вот в ту войну. Брат мой был во Франции с экспедиционным корпусом.

Прапорщиком. Два Георгия заслужил. Сейчас инженером где-то в Новосибирске. Вы бы поговорили с ним. Он бы уж вам понарассказывал, как там англичане воевали. Нация спортсменов... Каждое утро душ, какао и прочие деликатесы... А как в окопы попали, коснулись матушки-земли, так сразу половина в лазаретах оказалась... Нет, все чепуха... Косолапый наш Иван, сморкающийся в пальцы и бреющийся раз в неделю, войну делает... Он, голубчик мой, только он...

Никодим Петрович торжествующе смотрит на меня своими маленькими веселыми глазками.

— И не только он. А и вы тоже, и Будочка, и любовник наш, который чинил на передовой пулеметы, сменив свои, как они у вас называются, Бояджиев, штаны эти в обтяжку — лосины, что ли? — на штаны с наколенниками, и даже покорный ваш слуга... Вот где она, собака, зарыта, уважаемый мой, вот где...

А я подливаю масла в огонь, подзадориваю его, доказываю, что нельзя же в конце концов отрицать роль техники в войне, а он ерепенится, входит в раж, размахивает руками...

Так и тянутся дни. Тоскливо, однообразно, но уютно, тепло и, главное, беззаботно.

На десятый день встаю. Два раза прохожу из угла в угол. Голова с непривычки кружится. Костыли скользят. Нога тяжела, как свинец, неудобная. Запыхавшись, опять ложусь. На следующий день еще. Потом выбираюсь в коридор, перевязочную, а потом, с помощью Будочки, добираюсь до красного уголка.

Горизонты расширяются. День укорачивается. Появляются процедуры. Веселая, пухленькая хохотушка Зина массирует мне ногу. Не больную, а здоровую — говорят, помогает больной. Допустим. Все равно делать нечего, а массаж — вещь довольно приятная, особенно когда делают его не с вазелином, а с тальком.

От нечего делать торчу в перевязочной. Это вроде клуба

или парикмахерской — там всегда узнаешь последние новости, и время как-то незаметнее проходит. Сядешь в углу, вытянув правую ногу, и перематываешь целые километры бинтов под уютную воркотню Клавдии Михайловны — перевязочной сестры. Раны все знаешь уже наизусть.

— Эге, Романов, смотри, как загранулировала у тебя. Дней через десять уже комиссоваться можно.

— Это все кварц, товарищ лейтенант. На глазах зарастает.

Клавдия Михайловна улыбается тихой, старушечьей улыбкой.

— А помнишь, с какой сюда пришел? Одни тряпки висели.

Романов смеется:

— Как не помнить. Вы их тогда прямо ножницами и в ведро. Новая, мол, нарастет... Не жалеете вы нас, больных.

Клавдия Михайловна даже краснеет от обиды.

— Что ты, сынок... Как это язык у тебя только поворачивается. У меня вот такой же, как ты, может, тоже сейчас в госпитале мучается. А ты говоришь... Постыдился бы...

— Ну, ну, тетя Клава, я же просто так. К слову пришлось.

— К слову... Сегодня вот привели одного. Ну совсем как мой. Такой же крепенький, румяный... Пуля в плече, до кости добралась. Ни поднять руки, ни опустить... Я увидела, так и обмерла — совсем Сенька...

У нее даже слезы наворачиваются на глаза.

— Сел на столе операционном и ногой стал мотать вперед-назад. Ну, совсем как Сенька мой. И улыбка даже такая. Рука как веревка болтается, а он улыбается — «режьте, говорит, скорей»... А тут как на грех весь новокаин вышел. Завтра только обещают привезти. Нет, говорит, не хочу до завтра ждать, мешает уж больно пуля, режьте так. А пуля глубоко, до кости дошла. Вера Афанасьевна говорит: хорошо, сделаем под общим наркозом. Тоже, говорит, не хочу. Меня от него потом

два дня тошнит. Режьте так. Уговаривали, уговаривали — ни в какую. Не боюсь я боли, режьте, и все. Упорный такой... Так и не уговорили.

— А когда резать будут?

— Минут через двадцать. Вера Афанасьевна обход только кончит.

— А посмотреть можно? — интересуюсь я, все-таки развлечение.

— Мешать не будешь?

— Что вы, Клавдия Михайловна, разве можно. Сяду в углу и бинты, мол, перематываю.

— Бог с тобой — приходи. За шкаф сядешь.

— Вера Афанасьевна не прогонит?

— А ты, когда она уже начнет, приходи. Скажу, что вместо Лиды мне помогаешь. Лида не вышла сегодня — заболела.

Вера Афанасьевна самая молоденькая и хорошенькая из всех наших докторш. Держится она независимо, на воротнике носит шпалу, в лишние разговоры не вступает и ко всем больным относится одинаково внимательно. Никаких ухаживаний не принимает. Говорят, муж ее погиб в первый день войны. У нее вьющиеся каштановые волосы, чуть заметные золотистые усики и сильные, длинные с матовыми, коротко остриженными ногтями пальцы. По-моему, она должна обязательно хорошо играть на рояле. Говорит она со всеми резко, отрывисто, с замечательным чисто московским акцентом.

Когда я прихожу в перевязочную, Вера Афанасьевна и еще две сестры — кажется, студентки — уже там. Клавдия Михайловна завязывает им халаты. Все трое стоят, широко расставив стерильные руки. На подоконнике булькает кипятильник с инструментами. Больной — молодой паренек — лежит ничком, положив руки под голову, на обыкновенном школьном столе, покры-

том белой клеенкой. Рубашка висит рядом на стуле. На ней Красная Звезда и гвардейский значок.

Парень лежит ногами ко входу, сверкая голыми серыми пятками. Лица не видно. Видны только коротко стриженный затылок, широкая мускулистая спина с глубокой ложбинкой вдоль позвоночника и большое зеленое пятно на правом плече. Не шевелится — похоже, что спит.

Я сажусь между окном и шкафом, так что меня не видно, и принимаюсь за бинты.

Клавдия Михайловна подходит к кипятильнику. Одна из сестер натирает раненому плечо кусочком марли, Вера Афанасьевна протягивает руку в темной резиновой перчатке и говорит: «Скальпель» — тихо и отрывисто. . .

Вся операция длится не больше семи-восьми минут. Скальпель рассекает кожу, мышцы, маленькая струйка крови стекает в поставленный на полу таз, блестящие щипчики, ухватившись за края кожи, раздирают рану, и Вера Афанасьевна прямо пальцем влезает в нее — красную, большую теперь и кровоточащую. Серые пятки вздрагивают, одна нога быстро сгибается и сразу же выпрямляется, слегка дрожа, на спине напрягаются мускулы, но ни единого движения, ни единого звука больной не издает. Лоб Веры Афанасьевны — кроме него и глаз ничего не видно, закрыто марлей — бледнее обычного. Брови сдвинуты. Она ищет пулю, медленно вращая пальцем в ране. Напряженная тишина. Слышно только, как прерывисто дышит раненый.

— Сухо! — в руках у Веры Афанасьевны что-то маленькое и красное.

Клавдия Михайловна беззвучно подает длинными шипцами клубящуюся паром марлю.

— Бинт! — Щипчики, придерживающие кожу, исчезают. Белая, длинная змея плотно обвивает плечо и спину раненого,

проскальзывает под мышкой, вокруг шеи, опять на спину. Красное, потом розовое пятно на плече постепенно исчезает. Клавдия Михайловна торжествующе смотрит на меня: «Видали, как. . .»

Вера Афанасьевна подходит к рукомойнику, стягивая с рук тонкие, желтоватые перчатки. На щеках ее легкий румянец.

— Вы что здесь делаете, Керженцев? — недовольно говорит она, заметив меня за шкафом.

— Клавдии Михайловне помогаю, товарищ капитан, — кротко отвечаю я, — бинты вот перематываю. . .

Она ничего не отвечает, моет руки и с полотенцем в руках подходит к раненому.

— Молодец. Придешь теперь через четыре дня. Посмотрим, — и щупает, хорошо ли лежат бинты. — А пулю на память забери. Дома покажешь.

Боец приподымается, тянется здоровой рукой за рубашкой и. . . Бог ты мой. . . Седых. . .

Круглое с белесыми бровями, по-прежнему розовое даже после операции лицо его расплывается в такую очаровательную, сияющую улыбку, что я, забыв о костыле, на одной ноге подскакиваю к столу.

— Ну и молодчина, Седых. . .

Целуемся, радуясь друг другу, куда-то в уши.

— Керженцев, Керженцев, осторожнее все-таки, — слышу голос Веры Афанасьевны за спиной. — После операции все-таки. . .

— Хорош после операции. . . Чуть позвоночник мне не сломал от радости. . .

Потом мы сидим на моей койке и курим табак. Он мало изменился — такой же свеженький, ясный, только вместо пушка на щеках появились маленькие, реденькие еще, жесткие волосики. По-прежнему ковыряет ладонь. И в то же время появи-

лось что-то новое, неуловимое, появляющееся после нескольких месяцев пребывания на фронте, какая-то внутренняя уверенность, спокойствие, может быть даже развязность. Возможно, это и есть обстрелянность — период возмужалости, юность всякого военного человека.

Седых рассказывает о своей жизни с момента нашего расставания — обычную, всем нам хорошо знакомую, мало чем отличающуюся одна от другой, но всегда с интересом слушающуюся историю окопного человека. Тогда-то минировали и почти всех накрыло, а тогда-то, когда устанавливали «бруно» Игорю Николаевичу (так он стал называть Игоря), пулей отбило каблук, а ему, Седых, в трех местах планшетку продырявило. А потом они три недели сидели в окружении в литейном цехе «Красного Октября», и немцы их бомбили — спасу не было, и жрать было нечего, а главное — пить, и он четыре раза ходил на Волгу за водой, а потом... Потом опять минировали, опять «бруно» ставили...

— Заправским минером стал, а, Седых?

— Да ничего, — улыбается он. — Игорь Николаевич не ругаются... Как-то раз с ним вдвоем за ночь 150 ЯМ-5 поставили. Во взводе только я и он остались... — И он ухмыляется, потирая здоровой рукой подбородок. — Часто вас вспоминали... Первые дни особенно... Игорь Николаевич плавали еще тогда в саперном деле, да и я-то не очень... Все говорил тогда: «Эх, Юрки моего нет — это про вас — посоветоваться не с кем...» Командира взвода на второй день убило. Толковый был парнишка, все знал по саперству. Так мы с Игорем Николаевичем запремся в землянке и начинаем колупаться во взрывателях...

— Ну, а теперь как?

— Теперь? Ого как теперь! Командир полка знаете как их уважают? К звездочке представили... — Он уголком глаза взгля-

дывает на мою лишенную всяких знаков отличия рубашку и смущенно умолкает.

— А ты вот, я вижу, уже получил... Я знал, что ты получишь — помнишь, у костра тогда спрашивал все, за что ордена дают?

— Помню... — Седых принимается за ладонь. — Вы тогда еще говорили, не так просто, мол, получить...

— Ну, и как же на самом деле оказалось — просто или не просто?

Седых перебирает завязки на кальсонах, наматывает на палец.

— Бог его знает...

— Как так — бог его знает... Ведь не зазря же дали...

— Должно быть, не зазря, — еле слышно говорит он и все наматывает и разматывает завязку вокруг пальца. — Сказали както вечером Игорь Николаевич — я как раз с задания пришел — иди, мол, Седых, к майору, командиру полка, — вызывают тебя. Я и пошел. Ну и дали мне майор коробочку такую картонную, а в коробочке орден...

Все смеются.

— Выходит, значит, совсем просто... — подмигивает одноногий Ларька. — Пошел и получил. А мы вот, грешные, думали, что для этого что-то особенное надо сделать.

Седых вконец смущается и не знает, что ответить. Старательно стряхивает пепел прямо на пол, между ног...

— Ну, а Валега как, живой? — не подымая головы, спрашивает он.

— Живой, как же. Лошадей пасет на этой стороне. И Ширяев — комбат — живой.

— Старший лейтенант? Командир батальона?

— Начальником штаба у меня в полку.

— Вот бы повидать... Какой командир батальона был... Ой-ой-ой. Держись только.

И мы начинаем вспоминать Оскол, июльские дни...

— А помните, товарищ лейтенант, как тогда в сарайчике лежали и из пулемета строчили? Там, где Лазаренко убили?

— Как же... Ты тогда еще на стропилах сидел и вшей бил...

— Теперь уже нет, товарищ лейтенант. Всех вывел. А тогда в Сталинграде, в первый день, помните, как вы с Игорем Николаевичем до стирки все из-за стола выбегали — почесаться? А потом мы с Валегой часа три белье выветривали.

— Не вспоминай, Седых. Вспомнишь — так и сейчас чесаться начинает.

— Что же вы хотите, товарищ лейтенант, три недели по-настоящему не мылись. Конец не малый сделали — километров с тысячу.

— Тысячу не тысячу, а штук шестьсот отмахали.

Седых вздыхает и поправляет больную руку.

— А ты молодец все-таки, — говорю я. — В плече ковыряются всей пятерней, а ты — ни звука.

Он ничего не отвечает, потом встает.

— Ну, я пойду, товарищ лейтенант.

— Куда?

— Да там в коридоре у меня место.

— Завтра сюда перейдешь. Будочка вот выписывается — займешь его место.

— Так это ж командирская.

— Командирская, не командирская, а перейдешь сюда. Понятно?

— Понятно, товарищ лейтенант.

Седых переходит к нам. И сразу все хозяйство переходит в его руки. Ругается с сестрой-хозяйкой из-за чистого белья, разносит хлеб, ремонтирует репродуктор — где-то и этому научился, растапливает печку, достает где-то роскошную 12-линейную лампу. Ни минуты спокойно не сидит.

— Я вам там белье чистое достал. Под подушку положил. С пуговицами.

Или:

— В тумбочку я сметаны баночку поставил. Густая, хорошая.

По субботам мы ходим с ним в баню, и там он мылит мне левой рукой спину, добираясь чуть ли не до самых ребер, а я скребу ему голову и помогаю натягивать рубаху. И все это получается у него как-то весело, бодро, без всякой навязчивости.

По вечерам после ночной сводки, когда постепенно все засыпают и только в коридоре шушукаются парочки, Седых забирается с ногами ко мне на койку и начинаются бесконечные разговоры обо всем, что за день приходит ему в голову. Включается, конечно, и Никодим Петрович — он страдает бессонницей и никак не может заснуть. Удивительно много он все-таки знает, этот старый счетовод. Когда по радио передают Указ об учреждении специальных медалей за оборону Сталинграда, Одессы и Ленинграда, он нам читает целую лекцию об орденах, из которой мы узнаем, что полному георгиевскому кавалеру (четыре креста, четыре медали) даже генерал первым козырять должен был, что кавалеров английского ордена Бани не может быть больше восьмидесяти шести и что единственный русский, получивший этот орден, был Барклай-де-Толли, и что орден Подвязки носится под левой коленкой и только по большим праздникам, и еще целую уйму вещей, которых мы бы никогда и не узнали, если б не лежали с ним в одной палате.

Так проходит декабрь — тихий, снежный, с бесконечными вечерами и мохнатыми, точно плющом обросшими, белоснежными окнами.

Незаметно и Новый год подобрался. Новый год... Где я его встречал в последний раз? В Пичуге, что ли? В занесенной снегом Пичуге, на берегу Волги, в запасном батальоне. Я дежурил тогда по батальону. Дремал над телефоном. Караульный начальник позвонил и поздравил и счастья пожелал. Вот и все. Помню только, что был сильный мороз, и луна была в ореоле, и ноги мерзли...

А еще год назад где? В Киеве. У Люси. Народу совсем немного было. Человек пять или шесть. Я, Люся, Толька Янсон, Венька Любомирский, Лариса и Люба. Мы пили «абрау-дюрсо», ели хрусты и струдель с маком. Потом играли в шарады, и почему-то было страшно весело и смешно. А потом взяли у соседского мальчика санки и чуть не до самого утра катались с Нестеровской горки, пока у санок не отскочили полозья...

...Где они сейчас? На фронте, у немцев, в тылу? Все порвалось, точно ножом обрезал кто-то... Что там в Киеве сейчас? Живы ли мои старики? С чего они живут? И как живут? И можно ли это назвать жизнью? Продают понемногу вещи... Стоит где-нибудь мама на базаре с моим старым пальто или ботинками и ждет, когда какая-нибудь сволочь сунет ей пару червонцев. А ведь ей шестьдесят пять лет. Сорок пять из них лечила людей, а сейчас вот не знает, вероятно, на что дров купить или пшена. И самой нарубить дрова надо, и воды принести, на пятый этаж тащить ведра, и за бабушкой ухаживать. Она, правда, всегда молодцом была и до последнего времени сама на базар ходила, но восемьдесят семь лет все-таки восемьдесят семь. Две женщины, две старые женщины совсем одни... А кругом чужие, наглые лица... А может... Нет... Зачем им старики, зачем им женщины? Не может быть... Не должно быть...

А мы, черт, здесь, за тысячу километров, жрем булку с маслом и Седых раздобыл где-то самогонку и возится чего-то за столом, чего-то нарезает, сервирует...

— Чего загрустил, Керженцев, а?

Никодим Петрович подсаживается и обнимает за плечи.

— Да так, капитан, взгрустнулось чего-то. О доме вспомнил.

— О доме... — Он качает головой и привычным жестом поглаживает лысину. — О доме... А где ваш дом?

— В Киеве.

— Да-да-да, вы говорили. Мать, кажется, у вас там?

— Мать, бабушка. Старушки. Совсем одни.

— М-да, — он опять поглаживает лысину. — А у меня вот и дома даже нет. Все немцы уничтожили. И дом, и жену, и двух детей. Один сын только остался — танкист, майор...

Впервые я вижу Никодима Петровича неулыбающимся.

— Как же они погибли?

— Да что рассказывать... Погибли, и все... Одна бомба, и... все. Ни жены, ни детей... никого...

Он порывисто встает и выходит в коридор.

Ларька лежит на койке и бренчит чего-то на мандолине. Бояджиев тоже лежит, насвистывает. Один Седых возится. Из Москвы передают эстрадный концерт. В печке уютно потрескивают дрова.

— Ну что, будем начинать, товарищ лейтенант?

Седых звенит стаканами и смотрит на меня вопросительно.

— Да, да... Будем начинать... Ларька, Бояджиев! Отставить концерт! Скоро двенадцать... Никодим Петрович... Товарищ капитан! Сбегай, Седых, он в коридоре, должно быть...

Потом мы пьем крепкий до обалдения самогон и закусываем разогретой свиной тушенкой и холодными, как лед, хрустящими солеными огурчиками.

— На передовой салют, вероятно, по фрицам дают...— мечтательно говорит Ларька, разливает самогон и прячет бутылочку под стол. — С Новым годом поздравляют...

— С Новым годом поздравляют...— как эхо повторяет Никодим Петрович и встает. Лицо его серьезно, глаза не смеются, и стакан в руке чуть-чуть дрожит. — Разрешите мне, друзья, тост провозгласить... Так уж завелось...

— Просим, Никодим Петрович...

— Давай, давай, капитан... Чего-нибудь такое, заковыристое.

Ларька, по-моему, уже пьян — глаза блестят...

— Нет, не заковыристое,— Никодим Петрович держит стакан высоко над головой и смотрит куда-то — не то в окно, не то еще дальше куда-то...— Мне хочется выпить, друзья, за то...— Голос его чуть вздрагивает. — Вот мы с вами лежим в этой палате... Я, Керженцев, Бояджиев, Ларька, Седых... Разные все люди. Я вот старик, а Ларька и Седых совсем еще дети... И жили мы как-то, каждый по-своему... У каждого были свои интересы... Один дома строил, другой на сцене выступал — глаголом, так сказать, сердца зажигал, третий — не знаю что там на заводе — напильником работал... А я вот считал... Сорок лет считал... А по вечерам в шахматы с сыном играл, в театр ходил, двух инженеров вырастил... Каждый по-своему жил. А вот случилось, и собрались мы все в этой палате, чужие, незнакомые люди... И дома наши где-то далеко... И в них, может быть, даже немцы...— Он проводит рукой по лысине. — Отвык пить. Голова немного кружится... Простите... Но я хочу сказать, что мы вот скоро месяц как живем в этой палате... И мы никогда не говорили о том, что у нас там, в самой глубине... На сердце... Мы смеемся, шутим, ворчим, кричим иногда друг на друга, ругаем часто начальство, всяких там старшин и интендантов. Но все это где-то сверху, на поверхности... А внутри одно, одно

и то же, одно и то же... Сверлит, сверлит... Одна мысль... только одна... Прогнать их к черту. Всех до единого... До единого... Правда?

Голос его опять вздрагивает. Он останавливается, обводит всех нас глазами...

Ларька, раскрыв рот, не сводит с него глаз...

— Нескладно что-то у меня выходит... По-газетному както... Но вы понимаете меня, правда? Так вот... Странный мой тост будет... Обычно говорят — дай бог нам встретиться следующий раз в этой же компании. А я вот наоборот... Я хочу выпить за то, чтоб первый Новый год после войны каждый встречал у себя дома, со своей семьей, со своими друзьями и чтоб... Ну, вот и все... Давайте выпьем... И чтоб скорей этот год пришел...

Ларька ловко перескакивает на своей единственной ноге через кровать и крепко, прямо в губы целует Никодима Петровича.

— Мировой старик... Ей-богу, ми-ировой!

Мы чокаемся и выпиваем. Минута молчания. Все жуют... И вдруг над самым ухом раздается такой знакомый, такой приятный голос:

«...В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск: 14, 16 и 24 немецкие танковые дивизии, 71, 76, 79, 94, 108, 113, 295, 297, 305, 371, 384 немецкие и 20 румынская пехотная дивизии, 1 румынский кавалерийский дивизион и остатки 44, 376, 384...»

— А ну подкрути, подкрути, Седых...

«...Три дивизии Равенна, 3-я дивизия Челлера, 5-я дивизия Кассерия, 2-я дивизия Сфорцеска, 9-я дивизия Пасуби, 52-я дивизия Торино, 1-я бригада чернорубашечников...»

— Здорово, черт возьми!

А Левитан свое:

«...А всего по всем трем этапам, за шесть недель, с 19 ноября по 31 декабря освобождено 1589 населенных пунктов, убито 175 000 солдат и офицеров противника, взято в плен 137 650... самолетов 4451... автомашин 15 049...»

Ларька прыгает на одной ноге и размахивает костылем:

— Пятнадцать тысяч автомашин! Подумать только... Пятнадцать тысяч...

Опять наливаем. Опять чокаемся. Опять наливаем...

— Вы что, с ума сошли? — В дверях Варя. Взгляд испуганный.

— На́, пей... — подскакивает Ларька. — Ты представляешь, что это значит, Варечка? Пятнадцать тысяч машин... сто тридцать семь тысяч пленных.

— И еще шестьсот пятьдесят, — Никодим Петрович наливает себе еще один стакан и залпом выпивает. — Пить так пить... Давай поцелуемся, Варечка...

И они целуются — крепко, в обе щеки, по-русски — раз, два, три...

СОДЕРЖАНИЕ

Некрасов Виктор Платонович

В ЖИЗНИ И В ПИСЬМАХ

М., «Советский писатель», 1971, 256 стр. План выпуска 1971 г. № 39. Редактор З. В. Одинцова. Худож. редактор Е. И. Балашева. Техн. редактор З. Г. Игнатова. Корректор В. Н. Стаханова. Сдано в набор 30/XI 1970 г. Подписано в печать 2/IV 1971 г. А 05744. Бумага $70 \times 108^{1}/_{32}$ № 1. Печ. л. 8,0 (11,2). Уч.-изд. л. 11,6. Тираж 30 000 экз. Заказ № 1806. Цена [redacted] 44 **коп.**

Издательство «Советский писатель». Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10. Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров СССР, Красная ул., 1/3

44 коп.

